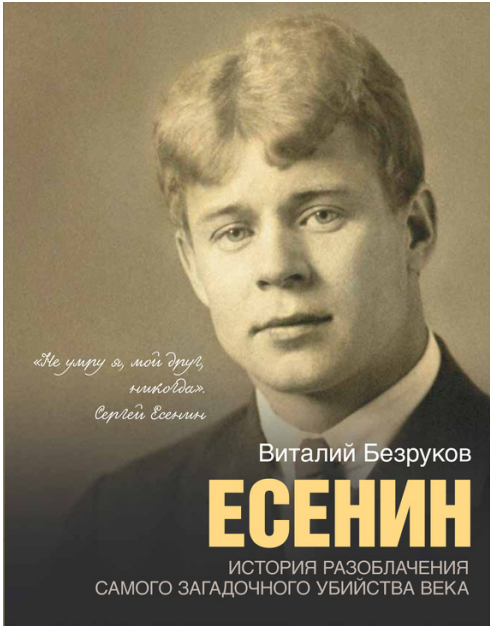




**Виталий Безруков**  
**Есенин**  
Серия «Интеллектуальные биографии»

*Текст предоставлен правообладателем*  
[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=11979011](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=11979011)  
*Безруков, Виталий Сергеевич. Есенин: АСТ; Москва; 2015*  
*ISBN 978-5-17-093007-4*

**Аннотация**

О нем писали много и долго. Одни – с подбострастным обожанием, прикрывая нелюбимые моменты из жизни стихами, другие – с удовольствием выставляя скандалы напоказ.

Его восхваляли, критиковали. Но так о нем еще не писал никто!

Роман Виталия Безрукова «Есенин» – это эпическая история трагической любви к Родине поэта Сергея Есенина. Тонко, драматично и шокирующе правдиво автор раскрывает загадки трагической гибели великого русского гения.

С этих страниц на вас будет смотреть не только русский классик, но и поражающий своей искренностью и самозабвенностью простой человек, одержимый земными страстями.

Мой отец никогда не причислял себя к профессиональным литераторам, но, прочитав его роман «Есенин» и сыграв главную роль в одноименном фильме, я с убеждением могу сказать – он вправе считать себя одним из тех, о ком сказано:

«Нас мало избранных, счастливых праздных,  
Пренебрегающих презренной пользой,  
Единого прекрасного жрецов».

Я знаю наперед: в ближайшем будущем он вновь заявит себя на поприще слова и предоставит на суд читателей свою новую работу, подтверждающую право называться не только драматургом, режиссером, но и писателем.

*Сергей Безруков*

Талантливый актер Виталий Безруков демонстрирует новую грань своего таланта. Его роман «Есенин» – это, несомненно, яркое слово в художественном осмыслении трагической судьбы поэта.

*Светлана Есенина*

# Содержание

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Часть первая                      | 6  |
| Глава 1                           | 6  |
| Глава 2                           | 15 |
| Глава 3                           | 29 |
| Глава 4                           | 44 |
| Глава 5                           | 49 |
| Глава 6                           | 63 |
| Глава 7                           | 68 |
| Глава 8                           | 75 |
| Глава 9                           | 81 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 89 |

# Виталий Безруков

## Есенин

© Оформление. ООО «Издательство АСТ», 2015

\* \* \*

*Талантливый актер Виталий Безруков демонстрирует новую грань своего таланта. Его роман «Есенин» – это, несомненно, яркое слово в художественном осмыслении трагической судьбы поэта.*

*Очищая имя Есенина от клеветы и грязных наветов, сфабрикованных из личной корысти или в политических целях, Виталий Безруков нарисовал живой образ великого русского поэта и мыслителя, роль и значение которого в истории России трудно переоценить. Художник не стремился хронологически точно воссоздать историю жизни Есенина. Он попытался заглянуть в его эмоционально-душевный мир, и это ему, на мой взгляд, во многом удалось.*

*Особенно радует то, что роман пополнит Есениниану в те дни, когда страна отмечает 110-ю годовщину со дня рождения Певца России, и в эти же дни по телевидению пойдет многосерийный фильм, снятый по книге.*

**СВЕТЛАНА ЕСЕНИНА**

**Президенту Российской Федерации В. В. Путину**

Уважаемый Владимир Владимирович!

Мы обращаемся к Вам по поводу до сих пор нерасследованных обстоятельств гибели великого русского поэта С. А. Есенина.

Мы считаем это делом национальной значимости.

Восемьдесят лет назад на основании непрофессионально составленного сотрудником 2-го отделения милиции г. Ленинграда Н. Горбовым акта была объявлена официальная версия гибели поэта – самоубийство.

И все последующие годы так называемые «друзья» поэта, околупартийные литераторы и журналисты и даже партийные деятели формировали и муссировали образ поэта – пьяницы и скандалиста, самородка от сохи, который не увидел и не понял светлого будущего и в минуту душевного разлада наложил на себя руки.

Обстоятельства гибели от родных тщательно скрывались. Но время всё ставит на свои места. И родным поэта, и всем русским людям небезразлично отношение к светлому имени любимого певца России.

После гибели Есенина Генеральная Прокуратура СССР не сочла нужным возбудить официальное уголовное дело по обстоятельствам его смерти, тем самым она от имени государства поддерживала версию самоубийства.

В 1989–1992 гг. выяснением смерти поэта на общественных началах занималась комиссия Есенинского комитета. С самого начала была задана версия 1925 года, поэтому и материалы подбирались для ее подтверждения.

Комиссия не удосужилась ни поднять ведомственные архивы Российской Федерации, Азербайджана, Грузии и Узбекистана, ни даже исследовать беспристрастно посмертные фотографии поэта. А между тем, за последнее время обнаруживаются все новые косвенные факты, заставляющие усомниться в добровольной смерти поэта.

По закону расследование причин смерти С. А. Есенина является прерогативой Генеральной Прокуратуры РФ. Однако она решительно, но малообоснованно отказалась возбудить уголовное дело, о чем свидетельствует ее ответ племяннице поэта, С. П. Есениной, в 1998 году.

Сложившаяся ситуация, господин Президент, заставляет нас обратиться к Вам, – последней надежде на справедливость.

Мы просим дать указание на рассмотрение вопроса о проведении на самом высоком уровне расследования обстоятельств гибели С. А. Есенина комиссией из авторитетнейших специалистов, принципиальных и свободных от позорной защиты «чести мундира».

Мы не преследуем цели установления личностей, виновных в гибели С. А. Есенина, мы хотим смыть с него клеймо «висельника-самоубийцы», даже если для этого потребуется эксгумация останков поэта.

Мы, как и многие соотечественники, уверены в том, что такое расследование убедительно опровергнет факт самоубийства и восстановит настоящий облик С. А. Есенина.

*С. П. Есенина, племянница С. А. Есенина.*

*С. В. Безруков, заслуженный артист РФ, лауреат Государственной премии России, актер московского театра под руководством О. П. Табакова, исполнитель роли Есенина в многосерийном телевизионном фильме «Сергей Есенин», который сейчас находится в производстве на Первом канале Российского телевидения и будет готов к показу в октябре 2005 года, к 110-летию со дня рождения Великого Русского Поэта.*

*А. С. Прокопенко, историк, архивист, заслуженный работник культуры РСФСР.*

## Часть первая

### Глава 1 Под грифом «Секретно»

Эдуард Хлысталов снял с себя полковничий милицейский мундир, достал из шкафа серый костюм, белую рубашку, галстук и, аккуратно разложив все на диване, направился в ванную. Наскоро сполоснувшись, на ходу вытираясь махровым полотенцем, поспешил на кухню.

– Бегу! Бегу, гаишник!

Он выключил чайник, налил кипятка в приготовленный заранее бокал с круто заваренным чаем. Вернулся в комнату, надел рубашку, галстук, брюки. Стоя, большими глотками, обжигаясь, выпил чай. В прихожей перед большим зеркалом надел пиджак. Критически глянув на свое отражение, усмехнулся.

– ...А лучшие годы, как птицы, летят, и некогда нам оглянуться назад... Да! – вздохнул Хлысталов, взял кейс и, машинально надев на голову милицескую фуражку, вышел из квартиры. Запирая ключом дверь, отметил про себя: «Надо бы дверь сейфовую поставить, а то уже дважды взламывали... И грамотно так. Никто ничего не видел... не слышал... Профес-сионалы! Не какие-то домушники... Только бумагами интересуются!.. Ну-ну! Последим!»

Легко преодолев четыре лестничных пролета, вышел во двор, здороваясь с сидящими на скамеечках у подъезда старушками, которые улыбались, отмечая несоответствие штатского костюма и форменной фуражки.

Сев в свою старенькую «Волгу», с трудом запустил двигатель.

– Ну! Не капризничай, старушка!

«Бах-тах-трах-ррр», – ответила машина.

Хлысталов глянул в зеркало заднего обзора и понял, чему улыбались бабули у подъезда.

«Что это я в последнее время? – Он кинул фуражку на заднее сиденье. – Плохо без Нины. Присмотреть некому! – Осторожно пересек двор, выехал на улицу и надавил на газ, вливаясь в общий поток. – Хорошо, воскресенье сегодня, пробок не будет. По Рязанке до Садового, потом до Красной Пресни, а там на Ваганьковское. – Глянул на часы: – Успею еще цветы купить тебе, дорогой наш Сергей Александрович».

Пятнадцать лет назад Хлысталову прислали письмо. Он тогда работал старшим следователем на Петровке, 38. Письмо в обыкновенном конверте, таких ежедневно приходило множество, но это запомнилось ему на всю жизнь, хотя он до сих пор не узнал адрес отправителя. Когда заглянул в конверт, то кроме двух фотографий с изображением мертвого человека ничего не нашел. Решил, что произошла ошибка, – в тот момент дел по убийству у него не было. Он позвонил в секретариат. Девушка-инспектор объяснила, что в конверте записки не было, а на photographиях – мертвый Сергей Есенин. Вот тогда, взглядевшись, он узнал его.

Шел сорок второй год. Немцы, отступив, окопались недалеко от столицы, накапливая силы для повторного удара. Карточное голодное время, жизнь не стоила ломаного гроша. Человека могли убить за кусок хлеба. Мать Хлысталова работала надомницей. На складе швейной мастерской под расписку ей выдавали кучу слипшихся от крови шинелей, гимнастерок убитых красноармейцев. Они с матерью везли их домой, стирали в ручье, сушили, выкраивали уцелевшие куски ткани и шили рукавицы. Два раза в неделю связывали тяже-

лейшие сумки и, еле передвигая ноги, тащились до маминой работы. Мастерская находилась далеко от трамвайной остановки, и попасть туда можно было, пройдя километра три по Хорошевскому шоссе вдоль железной дороги или через Ваганьковское кладбище. Первый путь был длиннее, но по кладбищу ходить боялись из-за шпаны, которой было предостаточно. Однажды, понадеявшись и махнув рукой на все опасности, они решили скоротать путь и, не оглядываясь, побежали через кладбище. Пробежав добрую половину пути, изможденная мать не выдержала и села на прелую прошлогоднюю листву. Рядом свалился и Эдик. Пока переводили дух, взгляд мальчишки упал на невысокое корявое деревце со срезанной корой. На светлой древесине чернильным карандашом были нацарапаны слова: «Я такой же неудачник, как и ты». А рядом – чуть видимый под ногами могильный холмик со ржавым крестом и надписью: «С. Есенин».

Эдик вздрогнул.

«Что с тобой?» – спросила мать. «Ничего!» – а самого словно токомшибануло. В свои десять лет он отлично знал, кто такой Есенин. Его стихи запрещены, за них можно было на Колыму угодить. Совсем недавно, до войны, его отец играл по воскресеньям на гармошке и тихо, чтобы не было слышно за дверью, напевал песни на стихи Есенина. Они всегда были грустными, он рукавом стирал с лица слезы. Наверное, кто-то из соседей донес куда надо (подлых людей во все времена хватало), и однажды ночью к ним по деревянной лестнице, по жалобно скрипящим ступеням, на второй этаж пришли трое молчаливых мужчин. Все перевернули, швырнули на пол гармошку, сняли со стены берданку и увели отца. Спускаясь по ступенькам, отец крикнул: «Эдик! Ты уже большой! Береги мать! И ничего не бойся!.. Помни: Есенин – душа наша!»

Придя в себя, мать Эдика побегала у ворот московских тюрем, но ничего не узнала и не добилась. Отец сгинул навсегда.

Когда Эдик подрос и полюбил поэзию, к могиле Сергея Есенина ходил часто. И не один, а с друзьями. А уж в день рождения – как на святой праздник.

Подъехав к Ваганьковскому кладбищу, Хлысталов вышел из машины, прихватив кейс, и, заперев дверцы, подошел к торгующим цветами женщинам, купил десяток ярко-красных гвоздик.

– Здравствуй, Эдик, здравствуй, дружище! – Широко раскинув руки, навстречу Хлысталову шел Алексей Велинов, грузный мужчина одних с ним лет, улыбаясь голливудской улыбкой, как и положено человеку, ухватившему «судьбу за хвост». После троекратных объятий и христианских поцелуев, несколько нарочитых со стороны Велинова, они двинулись в ворота, подавая милостыню попадающимся нищим.

– Вот еще год пролетел, Эдик, дорогой ты мой друг. Все реже встречаемся. Дела! Дела! Черт бы их взял... Замотался весь. Давай потише пойдем, задохнулся, мало двигаюсь. Кабинетный работник. А ты молодец, форму держишь. Мне бы тоже разгрузочные дни надо устраивать. А то вот, – хлопнул он себя по животу.

– Не разгрузочные, а нагрузочные тебе, Леша, надо. Бегай по утрам. После шести – холодильник на замок.

– Тебе бы не в милиции, а в инквизиции работать, Эдик! – замурлыкал Велинов, как кот Матроскин, и сам же расхохотался своему остроумию.

– И рад бы в рай, да грехи не пускают, – в тон ему парировал Хлысталов.

– Какие у тебя грехи? Праведник был всю жизнь. Или я тебя не знаю?

– Чужие грехи, Леша, чужие не пускают. – Хлысталов остановился, глубоко вздохнул, поморщился.

– Ты чего? – встревожился Велинов. – Сердце?

Хлысталов кивнул и улыбнулся.

– Как мотор у моей «волжанки»: барахлит, но тянет.

– Менять не собираешься?

– Чего? Сердце?

– Машину! Хотя сейчас и сердце шунтируют. Раз плюнуть!

Хлысталов отрицательно покачал головой.

– На мой век хватит и этой. Скоро в отставку. Только дельце одно распутаю до конца... и все! Сниму грех, так сказать.

Чем ближе подходили друзья к могиле Есенина, тем плотнее становился людской поток.

– Ну вот и пришли! Глянь, народу сколько! – Лицо Хлысталова стало торжественным, сердечная боль отступила, на душе стало тепло и солнечно, как в детстве.

– Любит, любит народ Есенина! Как бы ни клеветали, каких бы собак ни вешали на него! – бормотал полушепотом Хлысталов. – Здравствуй, Сергей Александрович! Гений ты наш! Великомученик русский! С днем рождения тебя! – Он непроизвольно перекрестился и поклонился, на глаза навернулись слезы. – Леша!.. Леша! – с трудом произнес он, будто проглотив комок в горле. – На! Цветы положи. Ему!

Волнение друга передалось и Велинову.

– Да! Да! Конечно! Цветы! А как же! Ты спокойно, Эдик. Спокойно! У тебя сердце. – Алексей взял букет и, раздвигая людей руками и отталкивая плечом, стал продвигаться к могиле Есенина. – Позвольте! Позвольте, товарищи! Дайте пройти, – громко говорил Велинов командным голосом, не терпящим возражений. Пробившись к могиле, засыпанной охапками цветов, он поклонился, положил цветы и, обернувшись к надгробному памятнику Есенину, неожиданно высоким, срывающимся на крик голосом, начал:

– Владимир Маяковский. «Сергею Есенину»:

Вы ушли,  
как говорится,  
в мир иной.  
Пустота...  
Летите,  
в звезды врезываясь.  
Ни тебе аванса,  
ни пивной.  
Трезвость.  
Нет, Есенин,  
это  
не насмешка.  
В горле  
горе комом —  
не смешок.  
Виджу —  
врезанной рукой помешкав,  
собственных  
костей  
качаете мешок.

Толпа людей, окружавшая могилу Есенина, зароптала. Велинов, не обращая внимания на шум, продолжал:



Почему?  
Зачем?  
Недоуменье смяло.  
Критики бормочут:  
– Этому вина  
то...  
да сё...  
а главное,  
что смычки мало,  
в результате  
много пива и вина.

Из толпы уже кричали:  
– Долой! Пошел ты на хрен со своим Маяковским!  
– Вот такие и замучили Сергея нашего!  
Какой-то мужик с затуманенным взором прорычал басом:  
– Че смотришь синими брызгами, аль в морду хошь?..  
Толпа подхватила:  
– Правильно! Дай ему пинка под зад за-ради праздника!  
Не привыкший к такому обращению, солидный Велинов побагровел, растерянно озираясь, выталкиваемый людьми, и уже совсем не к месту выкрикнул последние строчки стихотворения:

Для веселия  
планета наша  
мало оборудована.  
Надо  
вырвать  
радость  
у грядущих дней.  
В этой жизни  
помереть  
не трудно.  
Сделать жизнь  
значительно трудней.

Кто-то пронзительно засвистел, все захохотали. Вконец сконфуженный Велинов пошел по образовавшемуся коридору к Хлысталову. Какая-то интеллигентного вида старушка в нелепой старомодной шляпке исподтишка больно ткнула его зонтиком в спину. Велинов ойкнул, резко повернулся.

– Что такое?!! – Но старушку загородил мужик с мутным взором, всем своим видом давая понять, что угроза получить ему пинка под зад сейчас очень актуальна.

Не желая еще более усугублять положение, он повернулся и подошел к Хлысталову.

– Как-то все не организовано... Пьяные хулиганы. Не продумано все как-то... Где милиция?.. – бормотал Велинов, стараясь не смотреть на Хлысталова.

– Не бойсь, Леша, милиция рядом с тобой, все в порядке! – ответил Хлысталов, снисходительно похлопав его по плечу. – Посмотри, все успокоились!

Раздались аплодисменты, и место, где только что читал Велинов, заняла девушка. Размахивая в такт рукой, она звонко начала читать:

Как снять ярмо самоубийцы  
С поэта, Родины и птицы?  
Стреляют влет и судят разом.  
И слух ползет, ползет проказа,  
Позор, и слава, и бессмертье.  
Он просит, требует: «Поверьте!»  
За ним российские деревни  
И мир могучий, цепкий, древний!..

– Так что за дельце ты распутываешь, Эдик? Мокрое? – спросил Велинов, вытирая вспотевшее лицо белым надушенным платком.

– Мокрое, Леша, мокрое! – Хлысталов кивнул на надгробный памятник Есенину. – Вот мое дело, Леша.

– Я не понял...

– Вот мокрое дело, которое я вот уже десяток лет расследую...

– Есенин?! – удивленно вскинул брови Велинов.

– Он, родимый! Ты прислушайся, что девушка читает... Сидорина ее фамилия, кстати, хорошая поэтесса... честная!.. Не верит народ в самоубийство Есенина... И я не верю! Убийство! Заказное убийство! Оно было всегда, во все времена... и сейчас есть! Тебе, как сотруднику госбезопасности, это известно не хуже моего. Да что там!.. Давай отойдем, сядем где-нибудь. – Эдуард взял Велинова под руку, и они пошли по дорожке, ища взглядом скамейку.

– Господи, погода сегодня какая! Как на заказ, ко дню его рождения. Ты чего так посерьезнел, Леша? Обиделся на народ? Так ведь «класс не запивает жажду квасом... класс, он тоже выпить не дурак...» Сам виноват! Дернуло тебя читать эти стихи. Эрудицией хотел блеснуть? Вот и блеснул... как в лужу... ваше превосходительство – товарищ генерал!

– Не смешно, Эдик. Ты мне ответь – зачем тебе все это надо?! Существует же официальная версия!

– Знаю! Все знаю! Знаю эту хрестоматийную версию, навязанную народу, как, впрочем, всю нашу историю революции...

Они вышли на площадь перед церковью, поглядели по сторонам. Скамейки, что стояли около церкви, были все заняты. Народу на кладбище по случаю выходного дня было полно. Люди несли цветы на могилы своих родных и близких, и множество людей разного возраста неиссякаемым ручейком сворачивали на Есенинскую аллею.

– К черту скамейки! Разговор серьезный, не для посторонних ушей. Пойдем в мою машину, я на служебной. – Велинов решительно зашагал к воротам кладбища.

– Если серьезный, то уж лучше ко мне в «волжанку», да и шофер, наверное, у тебя. Не будешь же выгонять! Доложит: «Встречался с резидентом». Шучу!

– В каждой шутке есть доля шутки! Шофера я действительно плохо знаю, он из новеньких... А то, что стукачи они, так чего удивляться. Работа у них такая. Кушать все хотят! Где твоя?

Увидев «волжанку», как белую ворону торчащую среди шикарных иномарок, презрительно ухмыльнулся.

– Ну и аппарат! Как говорится: старый конь борозды не портит. Несolidно, Эдик! Поменяй! Я тебе иномарочку устрою, недорогую, бэ-у, но в отличном состоянии.

– Не надо, – серьезно ответил Хлысталов.

– Почему? Денег, что ли, нет? Так я дам, вернешь, когда сможешь!

– Нине эта машина очень нравилась. Пусть все будет как при ней... На вот, глянь. – Хлысталов достал из кейса конверт с фотографиями мертвого Есенина, протянул Велинову. – Ты чекист... глаз у тебя зоркий!

Велинов вынул фотографии, поглядел, и лицо его сразу стало непроницаемым. Взгляд водянисто-голубых, обычно веселых глаз стал свинцово-серым.

– Это Есенин?

– Да... Его только что из петли вынули... Что скажешь?

– Ты не куришь, Эд?.. – Хлысталов покачал головой. – А я можно закурю? Как тут окно открывается?

– Кури! Вот эту ручку крути по часовой.

Велинов достал пачку «Мальборо», вынул сигарету, чиркнув красивой импортной зажигалкой, прикурил. Глубоко затянувшись и выпуская струю дыма в окно, еще раз поглядел на фотографию.

– Что я могу сказать? Ну, что бросается сразу в глаза... Взлохмаченные волосы, верхняя губа опухла, правая рука как-то странно поднята вверх. – Поднес фотографию поближе к окну. – На ней видны следы порезов... А это что за глубокая вмятина на лбу?

Хлысталов пожал плечами:

– Подобные повреждения судмедэксперты обычно характеризуют как «нанесенные тупым продолговатым предметом и опасные для жизни человека».

Велинов согласно покивал головой.

– Эта травма несомненно прижизненная, так как по краям вмятины – опухоль, – продолжал Хлысталов, водя пальцем по фотографии. – А вот тут, под правой бровью и на лбу, чуть выше переносицы, видишь?.. Хорошо различимые темные пятна?

– Очень напоминает проникающее ранение в голову...

– А по официальной версии... – Хлысталов потянулся за сигаретой, но Велинов положил пачку в карман. – А по официальной версии... Есенин страдал алкоголизмом, хулиганил, вел аморальный образ жизни и в конце концов – от безысходности – повесился... Но на фотографии нет характерных признаков смерти от удушения! Нету высунутого языка, что делает лицо висельника страшным... сколько я их перевидел за свою службу... – Хлысталов потянул и ослабил галстук, расстегнул ворот рубашки, словно не Есенина, а его, Эдуарда Хлысталова, сдавливала предательская петля. – Да дай ты мне сигарету, Леша. Все равно – днем позже, днем раньше.

– Лучше днем позже, – невозмутимо ответил Велинов. – Продолжай свои соображения.

– Ладно!.. Меня, Леша, особенно настораживает положение правой руки. Если труп висел, то рука должна быть вытянута вдоль туловища, ведь так?

– Я слушаю, Эд!.. Ты только не волнуйся, дело ведь давно минувших дней... преданья старины глубокой, так сказать.

– Не ерничай, Алексей! Не та ситуация! Или прекратим разговор.

– Прости, Эд. Не сердись! Ты ведь знаешь мой характер...

– Знаю! Иначе не обратился бы к тебе... Так вот, рука должна вытянуться вдоль туловища, а у Есенина она почему-то поднята вверх.

– Элементарно, Эд. Самоубийца, как только наступает удушье, инстинктивно начинает бороться за жизнь, предпринимает попытки вырваться из петли и поднимает руки вверх.

– Согласен. Но когда наступает смерть, руки падают вниз!

– Всегда?

– Всегда, Алексей! Всегда! В том-то и дело. Стало быть, трупное окоченение произошло в другом положении... А теперь глянь на второй снимок. Есенин лежит в гробу. Рядом стоят мать, сестры, жена Софья Толстая. Видишь, какие у всех лица... не скорбные, а испу-

ганные. Сзади – первая жена Зинаида Райх уткнулась в грудь мужу Мейерхольду. И здесь все травмы видны на лице покойника... Значит, они действительно были? А?

– Откуда у тебя эти фотографии? – спросил Велинов, аккуратно складывая их обратно в конверт. – Их явно переснимали из зарубежного журнала. Я заметил по краям текст на английском языке.

– Глаз у тебя! Да, в наших изданиях таких фотографий я не видел... Мне их прислали на Петровку, давно. Судя по штемпелю, из Рязани... Когда-то я расследовал там крупное хищение...

– Ну и кто же их прислал? Для какой цели? – спросил Велинов, всматриваясь в спину человека, которого он заметил еще у могилы Есенина и который вот уже несколько раз прошел мимо их машины, каждый раз перекладывая портфель из руки в руку, и всякий раз он оказывался повернут в сторону машины Хлысталова.

«Наружка! – отметил про себя Велинов. – За мной вряд ли, стало быть, за Эдиком. Ай-яй-яй! Неужели наша контора заинтересовалась полковником Хлысталовым? Очевидно, делом, которое расследует этот «Дон Кихот в милицейских погонах»».

Чувство опасности, приобретенное Велиновым еще в бытность свою военным атташе в Вене, скомандовало ему: игра нешуточная, пора закрутиться.

– Что, что ты говоришь? – переспросил он. – Прости, задумался, прослушал.

Хлысталов недоуменно посмотрел на друга.

– А мне казалось, что ты весь внимание. – Пожал плечами. – Аноним не сомневался, что я увижу на снимках признаки насильственной смерти и дам ход делу, а он сам так и останется неизвестным.

– Думаешь, боишься? Чего? – И Велинов снова глянул в окошко.

– Вашего ведомства... В нашей стране всегда хозяйничала ваша контора. КГБ.

– ФСБ, – поправил Велинов. – И время сейчас другое... – Нащупав ручку на дверце, он начал крутить ее, поднимая стекло.

Хлысталов, заметив предосторожность Алексея, засмеялся:

– Ой ли! ЧК остается ЧК, под какой бы аббревиатурой она ни скрывалась. Аноним, видно, помнит, как любого сомневающегося в «светлом будущем» вы отправляли в пермские лагеря или в спецпсихбольницы.

– А ты не боишься, – лукаво сощурился на Хлысталова Алексей.

– А я не боюсь! – простодушно ответил Хлысталов. – Отец так завещал.

– Кто-нибудь видел эти фотографии?

– Да, я показывал их друзьям по работе... криминалистам, экспертам... Все они советуют одно – мне необходимо изучить материалы уголовного дела по факту убийства Есенина.

– Советы давать легко... От меня-то ты чего хочешь, Эд?

Хлысталов на мгновение замолчал, как бы подыскивая нужные слова.

– Ты мой самый близкий друг, Алексей! Ты чекист! Для тебя Есенин, как и для меня, на всю жизнь! – Чувствуя, что это не убеждает Велинова, добавил: – И слово «Россия» для тебя не звук пустой! Не так ли?

– Не дави на психику, Эд, – прервал его Велинов. – Все, что я могу для тебя сделать, – это сказать правду, а не советовать, как твои коллеги... Не перебивай!

Голос его стал жестким, официальным, словно говорил он для третьего лица, которое и подслушивало.

– Вести частное расследование такого масштаба в нашей стране – дело абсолютно бесперспективное. Даже тебе, с большими правами в части допуска к закрытым, секретным документам. А наша контора, как ты выразился, не позволит тебе даже прикоснуться к тайне

гибели Есенина... Если она вообще существует. В чем я сильно сомневаюсь как профессионал внешней разведки. – И уж совсем жестко добавил:

– И хотя нас связывает многолетняя дружба, не надейся получить через меня хоть какую-нибудь информацию. Дружба дружбой, а служба службой!

И глаза Велинова стали свинцово-серыми. От его слов повеяло репрессиями сталинских времен, когда предавали друзей, доносили даже на родственников.

У Хлысталова вновь защемило сердце, он скрипнул зубами.

– Ты чего, Эдик? Обиделся?

– На правду не обижаюсь, генерал Велинов!

– Плюнь ты на все! Сейчас поедem в ресторан, обмоем мою звездочку генеральскую, а заодно и день рождения нашего великого поэта.

– Я за рулем, Леша, да и не пью я совсем.

– Как? Совсем ничего? – искренне удивился Велинов.

– Совсем ничего. Сердце, Леша... прости, не могу.

– Эх, друг называется! – протянул разочарованно Велинов. – А я-то думал, устроим праздник. – Глянул на часы: – Я в «Арагви» столик заказал. А? Поедем?

Хлысталов застегнул ворот рубашки и затянул галстук.

– Будешь расследовать?

– Буду, Леша.

– Ну докажешь ты, что не самоубийство было! – сорвался на крик Велинов. – Что «заказали» его! Опубликуешь результаты своего расследования, напишешь брошюрку, я даже допускаю, что ее напечатают при нынешней свободе слова экземпляров эдак тысяч в пять. Но кому это надо, Эдик?

– Мне надо! – ответил Хлысталов сквозь крепко сжатые зубы. – И Ему надо!

– Кому Ему? Есенину? Да ему все равно, что творится на земле. А тебе зачем? Зачем в твои годы с твоим здоровьем ты ввязался во все это... Карьерой рискуешь!!! Ведь могу турнуть «по собственному желанию» начальства.

– Какая карьера, Леша? Всю жизнь я сыскарь. Честный мент, вот и все. Да и уйду я с Петровки. Сам уйду. И это будет мое последнее расследование.

– Ну, видно, у каждого своя судьба, – сдался Велинов.

– Согласен... Знать, судьба, что мне прислали эти фотографии, а не тебе. В меня верят. От меня ждут. И я постараюсь. Постараюсь!

– Старайся, Эдик! Старайся! Потомки оценят твою самоотверженность. Но! – Приблизившись вплотную к уху Хлысталова, Велинов прошептал: – Эдик, погляди в окно. Вон стоит «дятел», «топтун». То ли тебя пасет, то ли меня, сейчас проверим. – Он открыл дверцу, кряхтя вылез из машины, протянул руку. – Ладно, поехал я... гости ждут! Помни, я твой друг, что бы ни случилось. До свидания. – Отдал честь, махнул рукой: – К пустой голове руку не прикладывают. – Шутливо запел: «Я люблю тебя, Россия, дорогая наш Русь!» Проходя мимо отвернувшегося человека с портфелем, сильно толкнул его плечом. Тот пошатнулся, выронил портфель и чуть было не упал. Велинов и ему шутливо отдал честь: «Извините, не нарочно! Честное слово! Голова закружилась». И пошел, не оборачиваясь, к своей машине.

Человек торопливо подобрал портфель и заглянул внутрь.

– Козел, – прошипел он вслед Велинову.

Хлысталов переложил фотографии из конверта в кейс, бросил его на заднее сиденье, вышел из машины, аккуратно заперев дверцы, и направился к воротам, искоса наблюдая за человеком с портфелем. Тот, дождавшись, когда Хлысталов затерялся среди людей, быстро подошел к его «волжанке», чем-то открыл ее и, схватив конверт, мгновенно растворился в толпе. Когда Хлысталов через какое-то время вернулся к машине, ни конверта, ни человека с портфелем не было.

«Стало быть, «хвост» за мной», – он грустно улыбнулся, завел мотор и тронулся с места.

Продолжая изучать воспоминания современников, разыскивая людей, близких Есенину в последние годы жизни, Хлысталов часто вспоминал слова однокашника своего – Леши, генерала-разведчика: «Тема Есенина для посторонних закрыта». Однако, к счастью, находились и доброжелатели. Они оказались во многих архивах, спецхранах, музеях. Рискуя своей должностью, они подсказывали ему, какие дальнейшие шаги надо было предпринять в его благом деле. Никогда никому не называл он их имен, боясь причинить вред. Как бы испытывая свою судьбу, бросая ей вызов, Хлысталов всегда брал всю ответственность на себя.

## Глава 2

### Дело № 1. Принцип «Домино»

В кабинете Хлысталова на Петровке зазвонил телефон. Взяв трубку, он услышал звонкий женский голос.

– Здравствуйте! Вы Хлысталов Эдуард Александрович?

– Да.

– Следователь по особо важным делам?

– Он самый. А с кем имею честь?

– Я Лена, работаю в Государственном архиве Российской Федерации. Мне рассказали, что вы занимаетесь частным расследованием гибели Есенина... Это не телефонный разговор... Скажу только, что у нас в архиве Октябрьской революции обнаружили новые документы о Есенине, и не просто документы, а целое уголовное дело!

Хлысталов глянул на часы:

– Я могу приехать прямо сейчас?

– Да! – Голос в трубке снизился до шепота: – Только одно условие – никакого звонка не было, и... и в архив вы пройдете сами, я не смогу заказать вам пропуск. Вы меня понимаете?

– Слово офицера! Подскажите, ваш архив на Большой Пироговской находится?

– Да!

– Буду через полчаса. До встречи. Заранее огромное спасибо за помощь!

В ответ в трубке раздались частые гудки.

Перед входом в здание архива постовой милиционер, увидев полковничьи погоны и орденские планки на груди Хлысталова, даже не взглянул на удостоверение.

– Сержант, как пройти в архив революции? – спросил Хлысталов.

– По этой лестнице на второй этаж, потом по коридору и вниз в подвал, товарищ полковник, – и вслед добавил: – Можно на лифте.

Хлысталов, не останавливаясь, спросил:

– Архивистка, с голосом таким звонким... забыл, как зовут, не подскажешь?

Сержант добродушно рассмеялся:

– Ленка ее зовут. Простите, Лена Котова. У нее одной такой голос.

– Нравится? – Хлысталов остановился у лифта и нажал кнопку вызова.

– Ленка? – смутился сержант.

– Голос! – засмеялся Хлысталов, садясь в лифт.

Спустившись в архив, Хлысталов открыл дверь и лицом к лицу столкнулся с симпатичной девушкой в очках, с большими наивно-чистыми голубыми глазами и фигурой подростка.

– Ну, здравствуйте, Лена Котова. Я Хлысталов... с Петровки.

Лена, оглядевшись по сторонам, с видом заговорщика прошептала:

– Это я вам звонила. Здравствуйте, Эдуард Александрович.

Хлысталов, также понизив голос, сказал, глядя на бесконечные ряды стеллажей:

– Елена Прекрасная! Командуйте. Я в вашем подчинении.

Услышав такое сравнение, Лена широко улыбнулась и непроизвольно сняла очки. Сильно близорукие глаза выдали ее – беззащитную и бесхитростную, но в то же время чувствовался во взгляде характер, способный на отчаянный поступок.

– Леночка, будьте моей Ариадной в этом лабиринте стеллажей! Помогите в моем розыске. И потом, мы что, так и будем шептаться, как революционеры-подпольщики?

Лена засмеялась, указала пальцем на свое ушко и взглядом показала: вокруг уши! Надела очки и звонко спросила:

– Что вас интересует, товарищ полковник?

Хлысталов подхватил ее официальный тон.

– Мне хотелось узнать, нет ли у вас в архиве каких-либо документов, касающихся Сергея Есенина. Если можно, конечно.

Лена поманила за собой Хлысталова.

– Ну что ж, давайте будем рыться. Может, что и отыщем. Вас какое время интересует? Какие года?

– Да с семнадцатого – восемнадцатого годов, как свершилась революция. Но только не то, что в учебниках, пожалуйста.

– Ой! Я столько знаю. Столько читала тут! Я считаю, вам необходим краткий экскурс в историю, без которого не разобраться в страшной обстановке тех дней и месте Есенина в них.

– Вы любите Есенина? – спросил Хлысталов. – Его поэзию?

– Как его можно не любить? – возбужденно ответила вопросом на вопрос Лена. – Обожаю! Но об этом потом. А сейчас то, чего не было ни в каких учебниках, возможно, и не будет... Хотя кто знает. Все таинственное, секретное должно быть постигнуто, разгадано. Более того, человек не успокаивается до тех пор, пока волнующая его тайна не раскроется ему до конца. Такова природа человека.

– Полностью согласен с вами. Где вы учились?

– Я закончила историко-архивный. – И, смутившись, добавила: – Это начало моей диссертации, которая никогда не будет достоянием гласности. Можно я продолжу, Эдуард Александрович?

– Да, да, Леночка, только нельзя ли мне стульчик? При моем возрасте и росте трудно, знаете ли.

– Конечно, конечно, – спохватилась Леночка, быстро куда-то сбегала и принесла стул. – Вот, садитесь.

– Спасибо. Ну, я слушаю вашу диссертацию.

Лена опять сняла очки и начала восторженно, как на экзамене по истории.

– Седьмого ноября тысяча девятьсот семнадцатого года сравнительно небольшая кучка революционеров, поддержанная из-за рубежа врагами России оружием и деньгами, свергла Временное правительство и захватила власть в стране. Затем разогнали Учредительное собрание. Ленин сказал: «Морали в политике нет, а есть только целесообразность».

Чтобы удержаться у власти, большевики срочно создают карательные органы. Седьмого декабря тысяча девятьсот семнадцатого года Совнарком поспешно узаконивает ВЧК. Председателем, как вы знаете, был назначен Дзержинский.

Хлысталов согласно кивнул.

– Но вы не знаете, Эдуард Александрович, что он страдал эпилепсией и расстройством психики.

Хлысталов непроизвольно приложил палец к губам.

Лена, спохватившись, стала говорить тише.

– Дзержинский набирал в ВЧК уголовников, психопатов, параноиков, откровенных садистов и сексуальных маньяков, большинство из которых коммунистами никогда не были. Все без исключения ответственные должности в этой карательной машине захватили худшие представители своих народов – евреи, латыши, кавказцы... Я опять процитирую Ленина: «Мы Россию отвоевали, должны теперь Россией управлять. Расстреливать, никого не спрашивая и не допуская идиотской волокиты... Будьте образцово беспощадны, надо поощрять энергию и массовость террора!»

– Когда это он говорил? – переспросил Хлысталов.



– В феврале восемнадцатого года. Не было губернии, где бы против режима большевиков не выступили рабочие и крестьяне, но эти выступления подавлялись с невиданной жестокостью. Я вижу, вы не верите... Вот строго секретная записка члена Политбюро ВКП (б), – сказала Лена, доставая из одной из папок документ. – Вот, прочтите, это записка Ленина.

Хлысталов взял листок, стал читать: «...чем большее число представителей реакционной буржуазии и реакционного руководства удастся по этому поводу расстрелять, тем лучше.

Надо именно теперь проучить эту публику так, чтобы на несколько десятков лет ни о каком сопротивлении они не смели и думать...»

Лена вновь заговорила протестующе-звонко, гнев переполнял эту хрупкую с виду девушку:

– В основу деятельности так называемых «первичен» было положено осведомительство. Комиссары из ВЧК вербовали тайных агентов во всех слоях общества. Отказаться от фискальства было невозможно, потому что вопрос стоял: или – или! У людей брали подписку о тайном сотрудничестве. Выдача своих контактов с чекистами считалась государственным преступлением, и проговорившийся расстреливался немедленно. Все общество было окутано паутиной предательства. Теперь вы представляете, Эдуард Александрович, в какое время жил и творил Есенин...

Хлысталов погладил девушку по голове.

– Успокойтесь, Леночка! Все тайное рано или поздно становится явным. Но, – с сожалением вздохнул он, – диссертация ваша, боюсь, действительно не станет достоянием гласности, как вы сами выразились. Так что за дело Есенина вы обнаружили?

Лена по-детски смутилась.

– Простите... да, сейчас, идите сюда. – Она достала тоненькую папку. – Вот, читайте. Я отойду, потом позовете. Пойду кофе напьюсь, не могу... Только ничего не записывайте, а то вдруг... Хотя вас никто обыскивать не станет... Ну, читайте.

Хлысталов, поглядев по сторонам, развернул папку и прочел:

«Выписка из протокола заседания комиссии следственного отдела московской Чрезвычайной Комиссии от 17 января 1920 года: Дело кафе «Домино»».

Только что отгремела Гражданская война. В России голод, мор, отсутствие необходимых продуктов... Политика «военного коммунизма» и продразверстка довели народ до полного разорения. Прекратилась торговля. В деревнях нет спичек, гвоздей, керосина, ниток, ситца. Купить негде. Ни купить, ни продать. Прожив в Константинове две недели, Есенин приехал в Москву с тяжелыми впечатлениями от увиденного. Страшно ему было смотреть на эту «новую жизнь», вернее, на ее отсутствие. Видеть, как убивают русскую деревню, как погружается в небытие его родимый мир. Но и в Москве свирепствовали болезни и голод. Днем улицы заполняли тысячи беспризорников, с которыми не могла справиться милиция, ночью – банды отпетых преступников. И несмотря на все это, творческая молодежь, поэты различных направлений собирались в кафе «Домино» и вели яростные литературные споры, часто переходящие в скандалы, выяснение, кто из них гениальнее. На фоне бледных и бедно одетых поэтов, сидящих за пустыми столиками, резко выделялись разного рода спекулянты, жулики, пришедшие разогреться спиртом, который подавали в чайниках для заварки, послушать музыку, провести вечер с проституткой, подобранной на Тверской улице. Эти спекулянты и их «дамы», часто шикарно одетые, много ели и пили, вызывая громко разговаривали и хохотали. Публики набивалось битком, люди стояли в дверях, проходах, на лестнице. Среди них были агенты уголовного розыска – поэзия тогда «кормила» многих, хлеб-то выдавался по карточкам.

После чтения стихов начинающих поэтов постаревший, много переживший, стремящийся ныне играть роль третейского судьи, эдакого литературного арбитра, символист Валерий Брюсов объявил Анатолия Мариенгофа. Но выступление его было недолгим.

– Не оскорбляй публику, хам! К чертовой матери... – началась перебранка с сытыми посетителями. От ближайшего к эстраде столика в сторону Мариенгофа полетел смачный плевок.

Снисходительно улыбаясь, Брюсов развел руками. Что, мол, поделаешь, Анатолий Борисович! Публике не по нутру, как вы «молитесь матерщиной». Извините, спасибо.

Есенин, наблюдавший из-за столика за позором приятеля, закричал:

– Толя, дай в морду этой сволочи! Я тебе помогу! – Легко вскочил на эстраду и, сунув пальцы в рот, оглушил зал диким свистом.

Озорничать на эстраде тогда было модно, а публику «Домино» сам бог велел ошарашивать.

– Молчать, я – Есенин! Объявите, Валерий Яковлевич! – и повернулся к залу, очаровывая всех своей необычной улыбкой.

– Что объявить, Сергей Александрович? Вас? Но вы уже представились, – съязвил Брюсов.

– Поэму новую... «Сорокоуст».

Брюсов поднял руку, призывая публику к вниманию:

– Бывший новокрестьянин, нынешний имажинист Сергей Есенин прочтет нам что-то новенькое... «Сорокоуст». Рожайте, Сергей Александрович!

Есенин побледнел, улыбка сошла с его лица, он шагнул к краю эстрады, поднял руку со сжатым кулаком, словно шашкой рубанул воздух:

Трубит, трубит погибельный рог!  
Как же быть, как же быть теперь нам  
На измызганных ляжках дорог?

Вы, любители песенных блох,  
Не хотите ль пососать у лирика?  
Скоро заморозь известью выбелит

Тот поселок и эти луга.  
Никуда вам не скрыться от гибели,  
Никуда не уйти от врага.

Есенин читал громко, так громко, что проходящие по Тверской мимо кафе люди останавливались, прислушиваясь к срывающемуся на крик голосу.

А в это время в зале поднялись невероятный шум, свист, топот, крики:

– Долой! Хватит похабщины! Хам!

Мариенгоф, словно мстя залу за свое поражение, во весь голос кричал:

– Давай, Сергун! Давай, Есенин! Браво! Читай дальше!

Брюсов непрерывно звонил в колокольчик, пытаясь утихомирить посетителей.

– Доколе мы будем бояться исконно русских слов? Господа!

Но шум не смолкал. Тогда Есенин поднял руку и вновь улыбнулся. Эта его детски-наивная улыбка обезоружила и примирила всю эту разношерстную публику. Как будто солнечный луч пробился в наполненный дымом зал.

Все в ответ заулыбались. Дамы легкого поведения и просто дамы завизжали от восторга.

– Душка Есенин! – посылали они ему воздушные поцелуи.  
Есенин, довольный, улыбнулся.  
– Тихо, а то я опять буду материться.  
Зал ответил ему одобрительным смехом:  
– Давай, Есенин! Читай дальше!  
Лицо Есенина посерьезнело, он опять взмахнул рукой.

Видели ли вы,  
Как бежит по степям,  
Железной ноздрей храпя,  
На лапах чугунный поезд?

А за ним  
По большой траве,  
Как на празднике отчаянных гонок,  
Тонкие ноги закидывая к голове,  
Скачет красногривый жеребенок?

Милый, милый, смешной дуралей,  
Ну куда он, куда он гонится?  
Неужель он не знает, что живых коней  
Победила железная конница?

Брюсов, который вначале слушал с иронией мэтра, и в глазах его читалось: «Молодежь резвится... Пускай», – теперь неподвижно сидел и, как все, не отрываясь смотрел на голубоглазого юношу с копной кудрявых пшеничных волос. Такого он не слышал ни от кого из поэтов, такого не было раньше в русской поэзии. «Сорокоуст» – это панихида по умершему, которую заказывают и служат в церкви 40 дней, оттого и сорокоуст. Но поэма, которую теперь все слушали, затаив дыхание, напоминала не смиренно-заупокойную службу, монотонно читаемую дьячком, а крик отчаяния. Крик гибнущего человека, который всем своим существом сопротивляется надвигающейся агонии.

Черт бы взял тебя, скверный гость!  
Наша песня с тобой не сживется.  
Жаль, что в детстве тебя не пришлось  
Утопить, как ведро в колодце.  
Хорошо им стоять и смотреть,  
Красить рты в жестяных поцелуях, —  
Только мне, как псаломщику, петь  
Над родимой страной аллилуйя.  
Оттого-то в сентябрьскую склень  
На сухой и холодный суглинок,  
Головой разможжась о плетень,  
Облилась кровью ягод рябина.  
Оттого-то выросла тужиль  
В переборы тальянки звонкой.  
И соломой пропахший мужик  
Захлебнулся лихой самогонкой.

Последние строчки Есенин читал, преодолевая спазмы в горле, стиснув зубы, не давая вырваться наружу рыданиям, слезы катились по его лицу. Он гордо стоял на подмостках, пронзаемый сотнями взглядов, обожаемый и ненавидимый. Словно небожитель, спустившись на землю, увидел Есенин всю эту шваль, которая пила и жрала во время его чтения. Злобная гримаса исказила его лицо.

– Вы ждете, что я еще вам буду читать стихи? Пошли вы все к е... й матери! В спекулянты и шарлатаны! Хрен вам всем, а не стихи!

И, повернувшись к залу спиной, несколько раз шаркнул ногами, будто собака, закапывающая дерьмо.

И неизвестно, что больше обидело публику, – ругательства Есенина, к которым уж привыкли, или этот презрительный жест. Что тут началось! Публика повскакала с мест. Кричат, стучат, залезают на столы, кто-то кинулся на эстраду драться с Есениным. А тот словно ждал этого, скинул с себя полушубок, кулаком встретил нападающего, да так встретил, что он упал в зал, подмяв ближний столик со всей закуской и выпивкой.

Истошно завизжали и шарахнулись в стороны женщины, зазвенела разбитая посуда. Началась всеобщая потасовка, когда непонятно, кто кого и за что бьет. Молодые поэты-имажинисты выскочили на сцену защищать Есенина, а он, веселый, довольный, стиснув кулаки, набывчившись, стоял в центре, словно «атаман» во главе деревенских парнишек. Неизвестно, чем бы закончилось это «выступление поэтов», если бы не чекист в кожанке, который вошел в кафе «Домино» и выстрелил из нагана вверх. Этот выстрел прозвучал как самый веский отрезвляющий аргумент. Все замерли.

– Я комиссар московской Чрезвычайной Комиссии Самсонов, – жестко сказал чекист. – Прошу предъявить документы и дать объяснение происходящему скандалу! Всем оставаться на своих местах!

В кабинет следователя на Лубянке чекист Самсонов ввел Есенина. За столом сидел некто и что-то писал. Есенин огляделся, пригладил растрепанные волосы, одернул пиджак, затянул галстуком разорванный ворот рубашки.

«Куда это меня? На милицию не похоже...» – подумал он.

И как бы прочтя его мысли, сидевший, все так же не поднимая головы, равнодушно произнес:

– Вы находитесь в ВЧК, в отделе по борьбе с контрреволюцией. ГПУ вам знакомо? – добавил он, оторвавшись от бумаг. – Нет? Тогда давайте знакомиться. Я – следователь ВЧК-ГПУ комиссар Матвеев. Общайте гражданина, – приказал он Самсонову.

Тот быстро ощупал и вывернул карманы Есенина.

– Ничего нет, товарищ Матвеев. Только вот документы гражданина, – сказал Самсонов, кладя их на стол.

Следователь долго и придиричиво вертел их в руках и, спохватившись, вежливо предложил:

– Что же вы стоите? Садитесь.

– Благодарю. Я ждал, когда мне предложат сесть, – ответил Есенин, садясь на стул, положив вызывающе ногу на ногу. Но под мертвенно-водянистым взглядом следователя снял ногу и выпрямился, словно провинившийся школьник перед строгим учителем.

– Имя? Фамилия? – начал допрос следователь.

– Сергей Есенин.

– Отчество?

– Александрович.

– Год и место рождения?

– Тысяча восемьсот девяносто пятый. Село Константиново Рязанской губернии.

- Национальность?
- Русский, – громко ответил Есенин.
- Вы что, антисемит? «Русский» произносите с вызовом... Русский – так и говорите просто «русский»... Партийность?
- Имажинист.
- Что это за партия такая? – переспросил следователь, недоуменно поглядев на Самсонова.
- Разновидность эсеров, что ли?
- Есенин, с улыбкой поглядев на обоих, пояснил:
- Это творческое течение в поэзии.
- Так и запишем, – согласно покачал головой следователь. – Течением – имаженист.
- Не «женист», а «жинист», – поправил Есенин.
- Следователь, недовольно поморщившись, исправил букву.
- Профессия?
- Поэт!
- Чем занимались до Октябрьской революции и по настоящее время?
- Я же ответил, – ухмыльнулся Есенин. – И до, и после, и по настоящее время я – поэт!
- Пишу стихи!
- Родители? – продолжал следователь, делая вид, что не заметил ухмылки.
- Крестьяне.
- Образование?
- Высшее. Я учился в университете Шанявского.
- Так-так! Так-так! Гражданин Есенин... – следователь прекратил записывать показания, взял со стола папиросы, закурил и, глубоко затянувшись, приказал Самсонову: – Так в чем дело? Докладывайте!..
- Сегодня по личному приказу дежурного по Комиссии товарища Рекстынь, – с готовностью начал вскочивший на ноги Самсонов, – я прибыл на Тверскую улицу в кафе «Домино» Всероссийского Союза поэтов и застал бардак. То есть большую возбужденную толпу посетителей, – спохватился Самсонов. – Из опроса установил, что около одиннадцати часов вечера на эстраде появился член Союза Сергей Есенин. – Поглядев на Есенина, добавил: – Пьяный!
- Врешь! – вскочил Есенин.
- Молчать! – рявкнул следователь. – Сядьте! Продолжай!
- Пьяный Есенин, с эстрады обращаясь к публике, произнес грубую до последней возможности брань по-матушке... Начался скандал, перешедший в драку. Кто-то из публики позвонил в ЧК и попросил прислать комиссара для ареста Есенина. По приказу товарища Рекстынь прибыл и произвел арест. Вот показания свидетелей.
- Все? Читайте! – приказал Матвеев.
- Слушаюсь! – Откашлявшись в кулак, Самсонов начал читать, с трудом разбирая почерк свидетелей: – Заявление милиционера Громова, пост № 231: «Ко мне на пост пришел служащий из кафе «Домино» и просил взять гражданина, который произвел драку. Когда пришел туда и вежливо попросил уйти из кафе, он стал сопротивляться, кричать: «Жида предали Россию! Бей жида!» Прошу привлечь гражданина Есенина к ответственности по статьям 176, 88, 157 и 219 и за погромный призыв. Громов».
- Самсонов передал листок следователь.
- Все? – спросил тот.
- Нет! Вот еще несколько лиц дали краткие показания. Милиционер Дорошенко: «Есенин позволил себе нанести словесное оскорбление советской рабоче-крестьянской милиции, называл всех находящихся «сволочью» и другими скверными словами».

Милиционер Каптелин показал: «Гражданин Есенин говорил по адресу находящихся в кафе: «жулики», «паразиты» и т. д.». А милиционеры Ходов и Нейберг показали: «Гражданин Есенин кричал: «Хрен вам всем, а не стихи!» и позволял похабные жесты». Все! – закончил Самсонов, вытерев вспотевший лоб.

– Посетителями кафе «Домино» одни милиционеры, что ли, были? – с усмешкой спросил следователь, разглядывая показания свидетелей.

Есенин громко захохотал.

– Случайно... проходили случайно мимо, товарищ комиссар, – поняв свою оплошность, промямлил Самсонов.

Следователь встал, прошелся по кабинету, встал позади Есенина.

– Так что скажете, гражданин Ясюнин Сергей Александрович?

– Есенин я! Е-се-нин! Поэт Сергей Е-се-нин! Прошу не коверкать мою фамилию, – крикнул Есенин, вскочив со стула. – А это, – кивнул он на бумажки на столе, – все ложь! Все было не так! Никакого скандала я не делал! Пока ждал своего выступления... немного выпил. Когда начал читать стихи... публика вела себя хамски... свистели... оскорбляли... требовали еще стихов... А один вылез на эстраду и спросил меня, против ли я жидов или нет, на что я и выругался... Ну... послал его по-матушке... Назвал его провокатором и... толкнул тихонько в лицо кулаком, после чего он слетел с эстрады в публику. Был ли он милиционер... Откуда мне знать? А что потом было... и кто кого бил, я не помню. Шумно было. Тихо стало, только когда этот, – кивнул он на Самсонова, – этот стал стрелять... А у меня тоже были свидетели... сестра моя Екатерина Есенина и секретарь газеты «Беднота». Бениславская. Вы их спросите... Что ж, только милиция?

– Их показания не учитываются, они лица заинтересованные.

– А милиция – не заинтересованные? – возмутился Есенин.

Следователь выразительно посмотрел на Самсонова.

– Что ты на это скажешь, товарищ Самсонов? А?

Самсонов медленно подошел к Есенину и с размаху ударил его по лицу. Есенин упал навзничь, мгновение полежал и, вытирая кровь с губы, сплюнул на пол, а потом тяжело поднялся, сел на стул.

– Ничего, это я споткнулся... о камень... Это к завтраму все заживет.

– Заживет? – Следователь опять поглядел на Самсонова, и тот снова с размаху ударил Есенина.

От такого удара Есенин не сразу пришел в себя. Следователь налил воды в стакан, плеснул ему в лицо. Самсонов поднял и посадил Есенина на стул и остался стоять рядом, придерживая за плечо, чтобы тот не свалился.

– Известны ли вам причины вашего ареста?

Есенин отрицательно помотал головой.

– Вы обвиняетесь в контрреволюции! Да! Да! – заорал следователь Матвеев.

– Ни хера себе! – Есенин попытался улыбнуться разбитыми губами, но от боли закрыл рот рукой. – Да мои политические у-у-убеждения в отношении Советской власти... У-у-у! – простонал он. – Ой блядь! Ло-яль-ны! У меня даже имеется, – Есенин засунул руку карман, достал платок и прижал к кровоточащим губам, – имеется ряд произведений в... ре... в революционном духе!

– А кто может подтвердить эту вашу лояльность и благонадежность? Сестра?

– Народный комиссар Луначарский! Киров! Калинин! И... ряд других общественных деятелей, – с гордостью выкрикнул Есенин. На глазах его от обиды выступили слезы.

Чекисты переглянулись.

– Как вы смотрите на современную политику Советской власти? – спросил следователь, словно издеваясь над беззащитностью Есенина.

– Сочувственно... С пониманием, – и, оглянувшись на Самсонова, покосившись на его кулаки, добавил: – Каковы... бы... проявления этой власти... ни были...

– Похвально! – засмеялся Матвеев. – Похвально! Кто может взять вас на поруки? Кроме Кирова, конечно?

Есенин обхватил голову руками, бережно покачивая ее, словно больного ребенка, простонал:

– Кроме Кирова... За меня может поручиться... только Георгий Устинов. Устинов, позвоните... он сотрудник правительственной газеты. Больше сказать нечего. Я не могу больше. Голова моя... – Последние слова Есенин прошептал, падая со стула на пол.

Следователь нажал на кнопку звонка и сказал вошедшему конвоиру, кивнув на лежащего Есенина:

– В камеру его!

– В одиночку? – спросил Самсонов, помогая Есенину подняться на ноги.

– Нет! – ответил Матвеев, а когда пошатывающегося Есенина конвоир вывел из кабинета, тоном, не терпящим возражений, добавил: – Пусть из наших кто-нибудь с ним посидит. Поэты народ болтливый! На допросы не вызывать, и пусть доктор Перфильев подлечит его. Пьяная драка в их бардачном кафе тянет лишь на статью сто семьдесят шестую – хулиганство. Свидетельства одних твоих милиционеров – говно! Тоньше надо работать, Самсонов! Поэзию его почитай... Узнай про друзей его... Знаешь их? Ганин... Орешин еще...

Самсонов, поглаживая свои кулачища, добавил:

– Всех знаю. Наседкин... Клюев... Кусиков...

– К Устинову приглядеться надо. Вот где может быть дело, понял? А Есенина подержим, пока из его поручителей кто-нибудь не явится. Все! Действуй!

Узкая как склеп камера в тюрьме ВЧК. На койке, свернувшись калачиком, спит Есенин.

Из забранного решеткой мутного от грязи выходящего во двор тюрьмы окна послышался рев мотора и вслед за ним раздались выстрелы и истошные душераздирающие крики: «За что?! Будьте вы прокляты!! Убийцы!! Да здравствует революция! Я жить хочу! А! А!»

Есенин очнулся, вскочил с койки и, пошатываясь, подошел к окну. Эти вопли и рев машин образовали какой-то сверхъестественный гул.

«Уж не ад ли это? – промелькнуло у него в голове. – Господи, где я? – Потрясенный услышанным, Есенин отпрянул от окна и, обернувшись, увидел сидящего на койке черного человека. – Что это со мной? Видения какие-то!» Он протер глаза кулаками.

Видение зашевелилось и оказалось соседом по камере.

– Что это? – спросил Есенин, протянув руку к окну.

– Плохо слышишь? Стреляют! Людей стреляют, сволочи!

Лицо Есенина, и без того бледное, стало как мел.

– Как стре... стреляют?

– Как скотину! Без суда и следствия. Достаточно одного доноса, и... финита ля комедия! Се ля ви, мой друг! Отсюда только два выхода: либо ты признаешься во всем, либо вот! – кивнул он на окно и, откинувшись на кровать, пропел: «И никто не узнает, где могилка твоя!»

Есенин присел на краешек своей койки и растерянно запротестовал:

– Они не посмеют со мной так! Я... Меня лично знают Киров, Фрунзе, Луначарский!.. Вы же не знаете, кто я!

– Знаю! Есенин. Сергей Есенин... Я сразу тебя узнал, как притащили... Уже вторые сутки я за тобой ухаживаю. Горячка у тебя приключилась, Сережа! – Сосед поднялся. – Вот так-то, Сергей Александрович! А до тебя Гумилев здесь сидел... После расстреляли его... в Петрограде. – Сунув руку под подушку, достал кусок хлеба. – На-ка вот, подкрепись. Бланду твою я съел.

Есенин взял протянутый хлеб, втянул носом его запах, зажмурился от удовольствия.

Отщипывая крохотные кусочки, стал осторожно есть, стараясь не разбередить запекшиеся кровью разбитые губы.

– А вы кто? Вас за что сюда?

Сосед встал, с хрустом потянулся.

– По мне разве не видно? Бывший офицер белой гвардии, – сказал он, щелкнув подтяжками на плечах.

– Только за то, что бывший офицер? – Есенин прекратил жевать.

– Для этих инородцев, что власть в России захватили, этого достаточно. Раз офицер, значит, обязательно контра! – Он подошел к окну и прислушался. – Все! Сегодня, наверное, десятка три-четыре... – Офицер истово троекратно перекрестился. – Упокой, Господи, рабов Божьих!

– Я поражаюсь, как вы спокойно об этом говорите, – Есенин положил недоеденный кусок хлеба соседу на подушку.

– Это ваша доля, – сказал офицер, возвращая хлеб Есенину. – Я свою съел. А что до спокойствия... Я боевой офицер и с врагами тоже не церемонился!

Есенин помолчал и неожиданно спросил:

– Почему вы со мной так откровенны?

Офицер будто ждал этого вопроса и заговорил торопливо, точно актер заученную роль:

– Терять мне нечего. Я во всем сознался... Был членом контрреволюционной организации. Не сегодня завтра меня выведут «погулять» под шум мотора. И потом – вы Есенин! С поэзией вашей знаком и про вас много слышал. Такие люди не могут быть с двойным дном. Ваши стихи – боль за Россию.

Дар поэта – ласкать и карябать,  
Роковая на нем печать.  
Розу белую с черною жабой  
Я хотел на земле повенчать.

– Вот она, суть творящегося! – продолжал он с пафосом. – Ты гениально все зашифровал! Роза белая – это белая Россия, Белое движение, армия. А черная жаба – это жида! Ведь так, Есенин? Россию с жидками ты мечтал повенчать на Земле?

– Нет, – крикнул ошарашенный таким напором Есенин. – Я совсем не про это писал! Вообще про нее дурное, и темное, и чистое. Светлое в человеке – вообще! Это символы! Образы! С чего вы Белую армию приплели!

– Да не бойся, Сергей! Одни мы. Видно, Господь мне тебя послал, – снова перекрестился офицер. – Я передам тебе кое-что... Записочку. Я уж отсюда не выйду. А тебя выпустят. Иначе бы не лечили. Обыскивать тебя больше не будут, это точно! Передашь нашим!

– Кому нашим?

– Кусикову, – ответил офицер, гипнотизируя Есенина взглядом, как змея.

– Какому Кусикову? Их двое! – выдержал его взгляд Есенин.

– Старшему, как его? Ну, ты знаешь.

– Сандро? – спросил Есенин.

– Да! Сандро! – обрадовался офицер. – Ему передашь, а он уж знает, куда дальше.

– Я не знал, что Сандро из ваших, – прищурился Есенин.

– Что ты! Он служил в деникинской армии со мной в черкесском полку. В бою краснопузиками был ранен в руку. Он, как и я, ненавидит Советскую власть и коммунистов тоже. Мы хотели с ним бежать к Врангелю...



«А ведь ты не офицер, батенька, а провокатор! Подсадили тебя. Ты – «черный человек!» – подумал про себя Есенин.

– А тебя-то как зовут? – перебил Есенин.

– Разве я не представился? – рассмеялся офицер. – Головин. Поручик Головин. Николай. Будем знакомы.

– Слушай, поручик, а чего с меня подтяжки сняли, а? – наивно спросил Есенин.

– Чтоб не повесился ненароком.

– А... А с тебя почему не сняли?

Офицер, шелкнув машинально подтяжками, замялся.

– Черт их знает... Забыли, наверное, – фальшиво засмеялся он. – И на старуху бывает проруха.

Есенин зажмурился, ощутив внезапную боль в сердце. Испариной покрылись его лоб и руки. Он рванул рубашу.

«Что же делать? Что же делать мне с ним? Сволочь! Надо бы известить своих. Ах ты... твою мать!» – клокотало в душе Есенина.

– Что с вами? – насторожился офицер. – Вам плохо?

– Да нет. Душно просто. Вспотел, – ответил Есенин, снимая с себя рубашку, напряженно контролируя себя, чтобы случайно не выдать своих мыслей. Сделав усилие, он улыбнулся, медленно встал и, взяв рубашку за рукава, стал обмахиваться ею, как опахалом.

– Стихи, значит, мои знаешь?

– И знаю, и люблю, Серега! – Офицер натянуто улыбнулся, откуда-то достал папиросы, отошел к окну, сел на табурет и закурил.

Есенин чувствовал, как злоба, острая и горькая, подступила к горлу, сдавила шею. Рубашка от взмахов, скручиваясь все больше, превращалась в крепкий жгут.

– Вот этого не знаете, видно...

И вновь вернусь я в отчий дом,

Чужою радостью утешусь,

В зеленый вечер под окном...

– ...на рукаве своем повешусь, – зло подхватил офицер. – И это знаю, Есенин. Вы неплохой артист, Сергей Александрович! Лучше всего у вас получается, как я успел заметить, наивность.

Есенин ненавидящими глазами смотрел на поручика.

– Не приближайтесь ко мне, святая невинность! А веревку-то поберегите для себя! Жаль, хорошая была рубашка! Неужели вы способны на убийство, Есенин? Вы, должно быть, знаете какую-то тайну? Вы выросли в моих глазах. А творчество ваше, насколько я могу судить, действительно становится шире и сильнее. Я рад сказать вам об этом, – поручик встал, небрежно швырнул окурок в угол камеры и, спокойно пройдя мимо Есенина, стал барабанить в железную дверь. Заслышав приближающийся топот, он быстро проговорил:

– Сказать откровенно, Сергей Александрович, я искренне сожалею, что наша встреча произошла здесь, а не на литературном диспуте!

Лязгнул запор, и дверь отворилась. Вошел Самсонов с двумя охранниками. Он вопросительно посмотрел на офицера.

Седые вербы у плетня

Нежнее головы наклонят.

И необмытого меня

Под лай собачий похоронят, —

продекламировал офицер и прощально помахал Есенину рукой.

– Что тут у вас? – недоуменно спросил Самсонов.

– Я предупреждал, ничего с ним не получится. Подтяжки подвели, – сказал офицер, снова щелкнув подтяжками по плечам. – А впрочем, при чем тут подтяжки... Посторонитесь, Самсонов, дайте пройти.

Самсонов проводил взглядом Головина и, повернувшись к Есенину, скомандовал:

– Есенин, встать! Руки за спину! Следуйте за мной!

– Здравствуйте, Сергей Александрович! – Радужно улыбаясь, следователь Матвеев вышел из-за стола, протянул Есенину руку, но тот демонстративно оставил руки за спиной, как арестант.

– Поздравляю вас, – продолжал Матвеев, не замечая неприязни Есенина. – В ВЧК товарищу Ксенофонтову пришло ходатайство от наркома товарища Луначарского, а также поручительство товарища Блюмкина. – Матвеев вернулся за стол, взял листок, начал читать.

Но Есенин уже не слушал следователя, сердце его заколотилось так, словно готово было выпрыгнуть из груди.

«Свобода! Свобода! Спасибо, Яков! А хорошо, что у меня приятели евреи – они в фаворе. Луначарский молодец, вступился», – мелькали мысли в опьяненной от радости голове.

Есенину выдали его пиджак, подтяжки, документы. Наскоро приведя себя в порядок, он вышел из внутренней тюрьмы ВЧК. Не успели за ним захлопнуться ворота, как на шее визгом повисла его сестренка Катя.

– Сереженька, родной! Наконец-то! Я со страха чуть не померла! – стрекотала она, обнимая и целуя брата в щеки, лоб, губы.

Есенин ойкнул. Катя отстранилась и только теперь заметила его разбитые губы.

Мгновенно слезы сострадания брызнули из ее, как у брата, васильковых глаз.

– Как ты там, Сереженька? Тебя били?

– Не спрашивай! Потом расскажу... Как-нибудь. Здравствуй, Галя! – отстранив сестру, Есенин крепко пожал руку подошедшей Бениславской. – Спасибо, что вы пришли! Больше никого? А Мариенгоф?

Бениславская покачала головой.

– Тпру-у-у, – раздалось сзади.

К тротуару подкатил извозчик. Он, лихо натянув поводья, крикнул лошади:

– Стой, залетная!

В пролетке, стоя во весь рост, будто на эстраде, и размахивая рукой, словно читая стихи, Яков Блюмкин прочитал нараспев:

– Я, нижеподписавшийся Яков Блюмкин, член ЦК Иранской коммунистической партии, беру на поруки гр. Есенина.

Это сокращенное «гр.», а не «гражданин» всех развеселило. Девушки захохотали, даже Есенин улыбнулся разбитыми губами. Блюмкин повторил:

– Гражданина Есенина Сергея Александровича, обвиняемого в контрреволюции, беру на поруки, под личную ответственность. Я ручаюсь в том, что этот...

Девушки не дали ему закончить, зааплодировали, закричали:

– Браво, Блюмкин! Ура!

Яков, как плохой артист, церемонно раскланялся во все стороны:

– Спасибо, спасибо. Не надо оваций.

– Это лучшие твои стихи, Яков, – похвалил Есенин. – Над рифмой только надо поработать.

– У Мариенгофа тоже она черт-те что, – парировал Блюмкин. – Ну ладно. Все залезайте в коляску.

Когда девушки и растерянно-счастливый Есенин уселись в пролетке, Блюмкин scomандовал:

– Извозчик, трогай! Все ко мне в «Савой». Отметим твою свободу, Серега. Да здравствуют имажинисты?

Когда коляска покатила по улицам, Есенин, оглянувшись, неуверенно попросил:

– Яков! Слышь, Яков! Мне бы надо привести себя в порядок... Помыться, побриться. Рубаху вот... сменить. А? А то я только что из тюрьмы...

Все засмеялись.

– А правда. Давайте сначала заедем ко мне, Сергей переоденется, а вечером мы к вам, – поддержала его Бениславская. – Правда, Яков Григорьевич! Пусть Сергей придет в себя.

– А Катя как считает? – пошутил Блюмкин.

– Я как Сережа, – серьезно ответила Катя.

– Меньшинство подчиняется большевикам, – поднял, сдаваясь, руки вверх Блюмкин. – Убедили. Езжайте! А вечером жду в номере сто тридцать шесть гостиницы «Савой»... Все! Не прощаюсь. Катя, я красивых таких не видел, – процитировал он Есенина и, лихо спрыгнув на ходу, помахал вслед рукой: – Жду!

Молчание, которое наступило после ухода Блюмкина, первой нарушила Катя.

– Мы, Сережа, ночей не спали. Если бы не Галя... Она как ураган. Всех обегала, даже Калинин у звонила. Представляешь, он заявил, что в курсе происшедшего, но ничем помочь не может, ВЧК поступила по закону... Ведь так он сказал? Да, Галя?

Бениславская с горечью в голосе ответила:

– Как пить за счет Есенина, так все тут как тут! А случилась беда, попрятались как крысы!

– Куда мы едем? – спросил Есенин, с жадностью оглядывая все вокруг – дома, людей, небо, – будто не неделя прошла в тюрьме, а целая вечность.

А небо взвилось над Москвой голубое, прозрачное, чистое, словно в упрек грязным земным деяниям людей, суетливо спешащих по тротуарам в поисках своей судьбы, а может, просто пропитания.

– Ко мне, – по-будничному просто ответила Галя и, наклонив голову, чтобы Есенин не увидел радостных глаз, спросила: – Сережа... Катя мне сказала, вы разошлись с женой. Это правда?

– Да, – грустно улыбнулся Есенин, почувствовав ее настроение. – Уже и документы о разводе получил. Так что я одинокий. Давно одинокий.

– И очень хорошо, – вырвалось у Бениславской, – то есть... будете жить у меня.

– А вы не боитесь, Галя, что о вас могут нехорошо думать?

– А мы будем жить втроем, – быстро нашлась она и, смеясь, обняла и поцеловала его сестру. – Правда, комната у меня маленькая, но есть еще темный чуланчик. Там вполне может поместиться походная кровать.

Никогда и нигде Есенин не чувствовал такого одиночества, как последние года два-три здесь, в Москве. Это одиночество изнуряло его, нагоняло тоску, от которой он не знал порой, куда деться. Оно толкало его на постоянное общение с людьми. С людьми чужими, близкими, но недалекими. Он боялся одиночества, а потому с благодарностью согласился.

Щеки Бениславской запылали маковым цветом, несмотря на холод. Она стала обмахивать ладонью лицо. Наконец настал тот день или, скорее, ночь, о которой так мечтала Галя Бениславская.

Галина Бениславская, давно и безнадежно любившая Есенина, была девушкой неглупой, достаточно самокритичной и понимала, что недостаточно красива: среднего роста,

нескладная, с темными косами, с зелеными в густых ресницах глазами под чертой чуть не сросшихся на переносье бровей. Хотя и была она девушкой образованной, современной, но все-таки не смогла избежать влияния стихов Есенина и гипноза его голубых глаз и очаровательной улыбки. И какой-то внутренний голос подсказывал ей, что она может быть ему полезна и таким путем сумеет завоевать его любовь. Все произошло, как и мечталось. «Пришла и спасла!»

Сохранившаяся со времени работы в ВЧК секретарем у Крыленко связь помогала ей выручать Есенина из милиции, куда он не раз попадал после пьяных скандалов. А теперь вот и из тюрьмы ВЧК.

– Дальше куда ехать? – обернулся извозчик.

– Ко мне, на Брюсовский, – встрепенулась Галя. – Почти приехали.

Глаза ее, зеленые, точно посветлели, стали совсем изумрудными, они теперь безотрывно были прикованы к лицу беззаветно любимого Сережи. Сереженьки, как она ласково называла его про себя.

Гале кажется, что она победила, что Есенин со временем станет ее.

– Приехали, Галя. Твой дом, – прервала ее мечтания Катя.

– Остановитесь здесь.

Извозчик остановился. Есенин легко выскочил из коляски и подал руку Гале. Сестра сама выпрыгнула прямо на Есенина, обхватив его сзади за шею, повисла на нем.

– погоди, Катька, не балуй! – Страхнул ее с себя и, сунув руку в карман, хотел расплатиться с извозчиком. Пошарив во всех карманах, понял, что денег нет, и растерянно повернулся к Гале: – Нету! Денег у меня даже ЧК не нашло ни копейки. – Повернувшись к извозчику, сказал, извиняясь. – Прости, брат. У первого поэта России денег нет!

– Вот, возьмите, – протянула Бениславская деньги извозчику.

Извозчик снял шапку, перекрестился.

– Христос с вами! Полно, Сергей Александрович, нешто я не видел, отколь вы вышли! Может, еще свидимся. Что мы, нелюди? Нешто мы не понимаем! Но-о-о-о! Милай! – хлестнул он вожжами лошадь и, обернувшись, крикнул: – Держись, Сергей Александрович! Бог не выдаст, свинья не съест. Ничаво!

Тронутый до слез участием простого извозчика, Есенин засмеялся.

– Ну, пошли. Показывайте свое жилье, Галя.

Катя бросилась вперед, открывая дверь в подъезд.

Галя, чинно взяв Есенина под руку, обернулась по сторонам. «Хоть бы кто из знакомых увидел мое счастье!» Но не встретив никого, рассмеялась своим глупым желанием.

Как бы случайно прижавшись к Есенину в узкой двери, Галя так и шла с ним до лифта, где их ждала Катя с шутливо-многозначительным лицом, всем своим видом давая понять: уж она-то знает, к чему дело идет!

## Глава 3

### Отсрочка

Хлысталов понимал, что без изучения материалов, находящихся в прокуратурах и секретных архивах КГБ, восстановить причину трагической смерти Есенина нельзя, и он решился обратиться напрямую.

Заранее заказав пропуск, поднявшись на нужный этаж и пройдя по длинному коридору, Хлысталов постучал, отворил дверь и вошел в приемную высокого начальства КГБ.

– Я Хлысталов Эдуард Александрович. Здравствуйте!

– Здравствуйте! Пожалуйста, товарищ Хлысталов. Вас ждут, – произнесла услужливая секретарша.

Хлысталов вошел в кабинет. Начальник, в сером костюме, в белоснежной рубашке, отложив в сторону свежие газеты, предложил Хлысталову кресло:

– Здравствуйте, Эдуард Александрович. Слушаю вас.

– Я хотел бы получить доступ в архивы КГБ, чтобы отыскать дело по факту самоубийства в «Англетере» поэта Сергея Есенина, – выпалил Хлысталов давно заготовленную фразу.

Начальник изобразил на своем лице недоумение:

– Самоубийство Есенина? А для чего вам это нужно?

– Хочу установить правду о гибели поэта.

– А разве она не установлена? У вас имеются какие-нибудь документы?

– Я полковник милиции, заслуженный работник МВД СССР, – протянул Хлысталов свое удостоверение.

Начальник, заглянув в него на всякий случай, небрежно бросил его обратно Хлысталову.

– Меня это не интересует. Кто поручил вам заниматься делом Есенина? – Лицо его стало неприступным, глаза злыми.

– Я выступаю как частное лицо.

– Следствие ведут знатоки, – съязвил начальник. – Полковник Хлысталов, вы более чем кто-либо другой должны знать порядок ознакомления с архивными документами постоянного хранения! – отчитал он Хлысталова.

Оторопев от такого приема, Хлысталов, помедлив, встал, положил удостоверение в нагрудный карман. Он еще надеялся, но начальник вновь потянулся к газетам.

– Все, товарищ полковник! Будут еще вопросы?

– Благодарю вас, – растерянно ответил Хлысталов и, повернувшись, вышел в приемную.

– До свидания, – сочувственно сказала ему вслед секретарша.

Выйдя из здания, Хлысталов сделал несколько глубоких вдохов, поглаживая сердце, не торопясь отыскал свою «волжанку», сел и, положив руки на руль, уткнулся в них.

– Как башкой об стену! Эх!!! А ведь предупреждал меня друг-чекист Леша Велинов! Ну вот и убедился – не расстанутся со своими секретами чекисты ни в какие времена! Ах, Сергей, Сергей! До сих пор они тебя боятся. Даже мертвого боятся! Ничего... Будем искать другие подходы. Найдем другие секретные архивы! – Он тронулся, лавируя среди машин.

«Все равно тайное рано или поздно становится явным», – вспомнил он слова Леночки Котовой.

Вспомнил их последнюю встречу, когда она, оглядываясь по сторонам, шептала: «Вот документ, Эдуард Александрович, его мой сокурсник по историко-архивному достал мне на один день. Ой! Если его поймут, беда будет! Вы его прочтите прямо сейчас. А потом я его перепишу вам, если понадобится».

Хлысталов поглядел по сторонам Тверского бульвара, ее тревога передалась и ему. Он положил документ в сложенную газету и, откинувшись на спинку садовой скамейки, принялся читать.

«Кровавый красный террор, проводившийся в стране ВЧК, вызвал бурю протестов. Некоторые руководители страны откровенно называли ВЧК собранием убийц и насильников. Многие вожди, понимая, что не сегодня завтра они сами могут стать жертвами произвола, выступали на заседаниях ЦК партии против репрессий ВЧК. Дзержинский от расстройства упал в припадке эпилепсии прямо на заседании...»

Хлысталов читал, покачивая от изумления головой:

«...Он вынужден был дать во все губ ЧК шифrogramму, в которой приказывал прекратить расстрелы. Все эти события происходили в обстановке строжайшей секретности, и рядовые сотрудники о них не знали и продолжали «разоблачать» врагов Советской власти».

– Вы знаете, Эдуард Александрович, что Есенин находился в тюрьме ВЧК восемь суток! – прервала чтение Леночка. – Восемь суток! Он каждую ночь слышал, как во дворе расстреливают арестованных. Я вам сейчас перескажу один документ, я его знаю наизусть. Мне его показал мой сокурсник.

– Дима, что ли? – спросил Хлысталов.

– Нет. Я его не назову даже вам, не обижайтесь. Ну, он так просил. Поставил условие... В общем, так. Начальный бюллетень эсеров, – начала она, понизив голос. – Так вот... «Иногда стрельба неудачна. С одного выстрела человек падает, но не умирает. Тогда выпускают в него ряд пуль, наступая на лежащего, бьют в упор! В голову или в грудь...» Вот еще: «10–11 марта Р. Ореховскую, приговоренную к смерти за пустяковый проступок, который смешно карать даже тюрьмой, никак не могли убить. Тогда Кудрявцев (он недавно стал коммунистом) взял ее за горло, разорвал кофточку и стал крутить и мять шейные хрящи. Девушке не было 19 лет. Снег во дворе весь был красный и бурый. Все забрызгано кругом кровью. Устроили снеготаялку, благо дров много, жгут их в кострах полсаженями. Снеготаялка дала жуткие ручьи из крови...» Простите, дальше не могу! – Лена закрыла лицо руками и заплакала.

Хлысталов, отложив документ с газетой, привлек девушку к себе, стал гладить по голове.

– Ну успокойся! Успокойся, детонька. Нельзя же принимать так близко к сердцу!

Девушка уткнулась ему в грудь, плечи ее продолжали вздрагивать.

В комнату в Брюсовом переулке, где жила Бениславская, через единственное окно заглядывал багровый закат, освещая небогатое убранство жилища. За столом у окна отдохнувший, выбритый, аккуратно причесанный, щегольски одетый Есенин, держа в ладонях стакан с горячим чаем, время от времени прихлебывал из него с деревенским прифыркиванием.

На кровати, поджав под себя ноги, Бениславская, кутаясь в накинутую на плечи шаль, восторженно слушала откровения своего кумира.

– Мне сейчас очень грустно, – говорил Есенин, поглядывая в окно. – История переживает тяжелую эпоху умерщвления личности, ведь строящийся социализм совершенно не тот, Галя, о котором я мечтал и ждал. Совершенно без славы и мечтаний... в крови! Ты понимаешь меня?

Галя кивнула.

– Только, Сережа...

А Есенин продолжал:

– Тесно в нем живущему сейчас... тесно будет и грядущим поколениям! Ну ладно, хватит, а то... – он допил чай и, перевернув стакан вверх дном, поставил на блюдечко, –

весь самовар выдул. Катька, скоро ты? – крикнул он в сторону чуланчика, где ему поставили топчан. – Ты что-то сказать, Галя, хотела?

– Да! Прошу тебя. Сережа, – то, что ты мне сейчас говорил, – заторопилась она, – все правда. Правда! Но не говори это у Блюмкина! – Она соскочила с кровати, подошла к Есенину и, преданно глядя на него своими зелеными глазами, положила ему руки на плечо. – Неужели не чувствуешь, что вокруг и над тобой тучи сгущаются? И умоляю, не пей много, а то контроль над собой потеряешь. Дай слово, Сережа!

– Обещаю! – обнял он Галю.

Она с готовностью потянулась к нему влажными губами, но Есенин, прижав ее к себе, поцеловал в щеку. Скрипнула дверь чуланчика. Есенин отстранился от Гали и смущенно закашлял.

– А я ничего не видела! – сказала вошедшая Катя, хитро прищурившись. – Как вам мой наряд? – добавила она, вертясь перед зеркалом. – Как шляпка?

– Как корове седло, – осадил ее Есенин. – Сними и не фасонь! Ну, поехали, а то неудобно, люди ждут...

Гостиница «Савой» встретила приехавших своей былой роскошью. Катя восторженно оглядывала парадную лестницу, горящие канделябры, гладила мраморные перила, придиричиво поглядывала на себя, проходя мимо многочисленных зеркал. Есенин, видя ее восторг, хмурился. Он любил свою сестру. Кровное чувство у Есенина было очень сильно, он знал, что они с Катькой во многом похожи друг на друга, как близнецы, которые воспринимают мир и чувствуют почти одинаково... Но он четко осознавал свои недостатки и страшно боялся, как бы она не наделала ошибок, которые легко прощаются мужчинам и не прощаются женщине. «Ей уже двадцать лет, а она никак не может понять, что деньги я зарабатываю потом и кровью. А у нее женихи на уме да наряды. Учится небрежно, кое-как. На Приблудного хвост подняла. Вертихвостка! Нашла сокровище! По мне, Наседкин надежнее. И любит, видно, без памяти дурищу», – размышлял Есенин, широко шагая по коридорам, поглядывая на таблички на дверях номеров.

Забегавшая вперед Катя остановилась.

– Сюда! Вот сто тридцать шестой номер. Наверное, здесь, – сказала она, прислушиваясь к шумным голосам и бречанию гитары, доносящимся из-за двери.

В номере за столом, уставленным бутылками с закуской, читал свои стихи Мариенгоф. Напротив поэты Наседкин с Ганиным, делая вид, что внимательно его слушают, сосредоточенно что-то жевали. Развалясь на диване между двух девиц, поэт Кусиков приятным баритоном пел свою «Отраду». Девицы покачивались в такт мелодии, изредка прихлебывая вино из бокалов, глубоко затягивались папиросами, вызываясь касаясь певца своим бюстом – пытались обратить на себя его внимание.

Пир был в самом разгаре, наступил тот самый момент, когда все говорят и никто никого не слушает. Изрядно пьяный Блюмкин, в красном халате, держа поэта Мандельштама за ворот пиджака и крутя трубкой перед его носом, куражился:

– Ося! Жизнь людей в моих руках... Подпишу бумажку – через два часа нет человеческой жизни. Понял?! Вот Есенин. Я взял его сегодня на поруки, из тюрьмы ЧК вытащил, потому что он поэт, не чета всем этим, – кивнул он в сторону поэтов. – Этому говну! И хотя он большая ку... культурная ценность России... я... я... вот возьму и подпишу ему смертный приговор! А? А? Ты-то! Ха-ха! Нет! Но если ты хочешь, если тебе нужна его жизнь, я ее оставляю...

– Уж пожалуйста, Яков, оставь его для меня и... для России, – попросил Мандельштам, терпеливо слушая пьяное изгалие террориста.

– Не веришь?! – зло ухмыльнулся Блюмкин. Мотнувшись к письменному столу, он достал пачку незаполненных бланков на расстрел. – Вот. Смотри! – Глядя на присутствующих, поочередно стал заполнять. – Ганин! – быстро заполнил бланк, подписал. – Пожалуйста! Дальше... Кусиков! – также заполнил и подписал. – Да, число надо! Какое нынче? Так... Милости просим! Вот! А теперь этого... как его? – ткнул он пальцем в Наседкина. – Забыл... поэт сраный!.. Да! Наседкин, кажется. А хочешь, тебя, Ося? А? Я могу... Для революции никого не пощажу!

Мандельштам мгновенно схватил со стола заполненные бланки и разорвал их в клочки.

– Оставь эти дурацкие штучки, Яков! Отдай сейчас же эти смертоносные бумажки, – сдавленно шипел Осип, вырывая у Блюмкина чистые бланки. – А то расскажу сейчас всем.

– Ося! – Блюмкин схватил за галстук Мандельштама и притянул его вплотную к себе. – Ося! Если ты хоть слово об этом пикнешь, я тебе буду мстить... Запомни! А мстить я умею! И ваш Луначарский не поможет! Все! Баста! – Подошел к столу, налил себе, выпил и, покачиваясь, стал слушать.

Мариенгоф, довольный, что слушателей у него прибавилось, читал, стараясь перекрыть гитару и пение Кусикова:

Кровью плюем зазорно  
Богу в юродивый взор.  
Вот на красном черным:  
– Массовый террор!

Метлами ветра будет  
Говядину чью подместь.  
В этой черепов груди  
Наша красная месть!

Блюмкин заплодировал, и все подхватили.

– Неплохо, Марьян-граф! Французские революционеры тащили мятежных аристократов на фонари – вешали врагов народа тысячами! Русская революция ставит врагов к стенке и расстреливает их. Завтра мы заставим тысячи их жен одеться в траур! Через трупы – к победе! Тихо! – Взгляд его блеснул безумием. – Вот из моего... последнего... называется «Улыбка ЧК», – объявил он, обращаясь к одному Мандельштаму.

Нет большей радости, нет лучших музык,  
Как хруст ломаемых костей и жизней,  
Вот отчего, когда томятся наши взоры  
И начинает бурно страсть в груди вскипать,  
Черкнуть мне хочется на вашем приговоре  
Одно бестрепетное: «К стенке! Расстрелять!»

– Bravo! Bravo. Яков Григорьевич! – первым громко заплодировал Мариенгоф. – Вот это поэзия! Шедевр!

Все нерешительно поддержали, а жена Блюмкина, Нора, красивая брюнетка, сидевшая во главе стола, глядя на весь этот шабаш, закрыла лицо руками.

– Яков Григорьевич! – льстиво продолжал Мариенгоф. – Мы с Сандро недавно были в Музее революции, так, знаете... там вам и убийству Мирбаха посвящена целая стена.

– Неужели? Очень приятно, а что там на стене? – самодовольно спросил Блюмкин.

Мариенгоф, хитро подмигнув Кусикову, продолжал:



– Да всякие газетные вырезки, фотографии, документы, цитаты... Цитаты! Правда, Сандро?

Кусиков понял, что Мариенгоф разыгрывает Блюмкина, и с готовностью поддержал:

– Да, цитаты! Я даже помню, что поверху через всю стену цитата из Ленина, я ее помню наизусть. Прочсть, Яков Григорьевич?

– Если помнишь, давай! – согласился Блюмкин, не ожидая подвоха.

Кусиков встал и, как вождь с трибуны, прокричал:

– Нам не нужны истерические выходы мелкобуржуазных дегенератов, нам нужна мощная поступь железных башмаков пролетариата.

Все засмеялись. Блюмкин, по-прежнему не понимая, что его разыграли, огорчился.

– Надо будет сходить проверить. Я жизнью тогда рисковал... а они меня так... сволочи!!

Есенин решительно распахнул дверь и вошел в номер, широко улыбаясь.

– Привет честной компании! Мало вас? Не надо ли нас?

Приход Есенина с девушками оказался как нельзя кстати, ибо розыгрыш, который учинил над Блюмкиным Мариенгоф, в отместку за Марьин-графа, по-видимому, сильно озлил Якова Григорьевича.

– Ба! Сергун! – искренне воскликнул обрадованный Мариенгоф. – Те же и «Явление Христа народу», и, как всегда, с девочками! Ну наконец-то! А то мы уже заждались.

– Мы заждались и нажрались! – срифмовал Кусиков.

Наседкин, предупреждая возможную грубость, одернул его.

– Сандро, остынь! Тут дамы. Проходите сюда, Катя, Галя!

Жена Блюмкина радостно вышла из-за стола навстречу Есенину. – Проходите, Сережа! Девушки! Вот сюда. Подвиньтесь, господа-товарищи-имажинисты! Пожалуйста, поухаживайте за дамами!

– Чур, рядом со мной, – Наседкин усадил Катю около себя. Подвинул свою тарелку, налив ей в бокал вина, счастливый, забыл обо всем на свете, не скрывая своего чувства к девушке.

– А Приблудного нет? – спросила Катя, оглядывая присутствующих.

– Нет! Приблудного сегодня нет! – ревниво ответил Наседкин.

Бениславская вначале хотела сесть рядом с Есениным, но Кусиков, потянув Галю за руку, усадил ее рядом с собой.

– Мы, горцы, любим только кавказских женщин. Сакартвело! – добавил он по-грузински.

Галя хотела запротестовать, но, увидев просящий взгляд Есенина, осталась.

– Я только наполовину грузинка, по матери, а отец мой француз, но я его никогда не видела, – ответила Галя. – Бениславская – это фамилия отчима.

До этого молчавший Блюмкин встал, налил полный бокал вина, протянул Есенину:

– Давай, Серега! За твое избавление!

Есенин, увидев умоляющий взгляд Гали, ободряюще подмигнул ей.

– Нет! Яков! Дайте мне выпить одному бутылку... ну... буду знать, сколько выпил... это лучше... а то я меру потеряю... Будет казаться, что выпил немного...

– Вот, Сергей, – поставил перед ним бутылку вина Блюмкин. – Кто, кроме Сереги, притронется к ней, пристрелю на месте! Вы меня знаете! – И неожиданно вынув наган из кармана халата, положил перед собой на стол.

– Ой, как страшно, – засмеялся Мариенгоф, но Блюмкин так посмотрел на него, что тот поперхнулся.

– Завтра его в Кремль вызывают! Поняли? И он должен иметь лицо, а не лошадиную морду! – сказал Блюмкин, опять зло глядя на продолговатое, и впрямь похожее на лошадиное, лицо Мариенгофа.

Есенин звонко рассмеялся, поняв прямой намек Блюмкина, но, желая разрядить обстановку, отшутился:

– Вот тебе раз. Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! Из огня да в полымя. Ты откуда знаешь, Яков?

– Оттуда! – Блюмкин высокомерно хмыкнул. – Я уже месяц работаю в секретариате товарища Троцкого! Личным порученцем. По особо важным делам!

Кто-то удивленно присвистнул. Мандельштам осуждающе покачал головой, Кусиков, поперхнувшись, закашлялся, а у Мариенгофа лицо еще больше вытянулось. Только Наседкин ничего не слышал, с восторгом рассказывая что-то на ухо Кате, а Ганин сделал вид, что это ему неинтересно. Одни девицы, действительно ничего не понимая, глуповато поглядывали вокруг.

Пользуясь правом хозяйки дома, Нора подняла бокал:

– Ну что ты, Яков! Взял и всех перепугал. Давайте выпьем наконец за Сергея Есенина! За его благополучное возвращение, – и первая выпила свой бокал до дна, перевернула его, показала всем, что там не осталось ни капли, призывая всех последовать ее примеру.

Все радостно подхватили. Вставая и протягивая свои бокалы, чокались о бутылку Есенина.

– За тебя, Сергей!

– Сергей, твое здоровье!

Мандельштам, чокаясь с Есениным, многозначительно произнес, искоса поглядывая на Блюмкина:

– За благополучное избавление, Сергей! Я искренне рад, знаешь!

– А вы рады, Сергей Александрович? – пошутила Нора.

– Еще бы не рад, – ответил за него Мариенгоф. В голосе его прозвучала тщательно скрываемая, давно затаенная зависть посредственности к истинному таланту. – Сам Троцкий за него вступился, теперь в Кремль вызывает!

– Спасибо! Спасибо! – чокался со всеми Есенин и, глотнув из бутылки, поднял ее, приветствуя Блюмкина. – Яков, я твой должник!

– Какие могут быть счета... Свои люди... Имажинисты... И не меня благодари, а вот ее. – Схватив жену за волосы, он пьяно и вульгарно поцеловал ее в губы. – Как фурия набросилась! «Яков, ты должен спасти! Немедленно звони Троцкому!» Любит она тебя, Серега! У меня глаз... Все вижу!

– Ну полно тебе, Яков, глупости болтать! Я люблю не Сергея, а самого лучшего поэта России Сергея Есенина, – выпалила, покраснев от стыда за мужнин поступок, Нора.

– Так я и поверил! – завелся было Блюмкин, но Нора уже взяла себя в руки, хлопала в ладоши и командовала:

– И хватит пить! Слышите, вы, пьяницы с глазами кроликов, – засмеялась она. – Хочу стихов!

– Хо-чу сти-хов! – подхватили все, скандируя. – Стихов! Стихов!

Мариенгоф встал, как будто только он один был здесь поэт и именно его просят почтить свои стихи.

– Тихо! Сандро, оторвись от бутылки! Вот мое последнее...

– Сядь, – рывкнул Блюмкин, не выдержав его откровенной наглости. – Ишь, выскочил! Ты уже сегодня своими стихами всю комнату провонял! Козел!.. С лошадиной мордой! – пьяно процедил он.

– Это не я... это Кусиков, а может, Мандельштам, – фальшиво засмеялся Мариенгоф, испугавшись такого прямого оскорбления, желая замять неловкость и свести все к шутке. – Здесь все поэты! Почему сразу я? Другие тоже свои стихи читали... Наседкин, Ганин... давайте посчитаем: «В этой пьяненькой компании стихами кто-то навонял, – считал он, тыча пальцем в каждого, кроме дам, Блюмкина и Есенина. – Раз, два, три... это, верно, будешь ты!» – закончил он счет на Наседкине, который в это время продолжал разговаривать с Катей.

Все захохотали.

– Наседкин! Наседкин! На-сед-кин! Браво!

Не понимая, в чем дело, Наседкин встал и чинно раскланялся:

– Благодарю! Благодарю! Всегда к вашим услугам!

Все зааплодировали и захохотали еще сильнее.

Наседкин, смутившись, сел.

– Да ну вас! Катя, не обращайтесь на них внимания. Имажинисты, они и пьяные имажинисты! Маму родную обсмеют – не пощадят!

Когда все утихло. Нора, вытерев выступившие от смеха слезы, обратилась к Есенину:

– Сережа! Можно вас попросить? Почитайте что хотите! Прошу вас, – от вина у нее тоже немного закружилась голова и в голосе ее появились какие-то мурлыкающие нотки, черные глаза стали бархатными.

Как влюбленный человек, обостренно чувствующий все, что касается объекта ее страсти, Бениславская с удивлением поглядела на Нору и, закусив губу, замерла, осторожно поглядывая на Блюмкина: «Только бы он ничего не понял! Господи!»

Но никто, а тем более опьяневший Блюмкин, не заметили столь явного выражения чувств Норы. Только Есенин что-то заподозрил, но виду не подал, лишь улыбнулся победной улыбкой.

– Сандро, дай-ка гитару! – он решил не читать, а петь.

– Жарь из «Москвы кабацкой», – ударив по столу кулаком, потребовал Блюмкин. – Только попохабней! – Он посмотрел на жену мутным ревнивым взглядом. – Я знаю, чего ей хочется!

Есенин ударил по струнам.

Пой же, пой. На проклятой гитаре  
Пальцы пляшут твои в полукруг.  
Захлебнуться бы в этом угаре,  
Мой последний, единственный друг.

Эту строчку он пропел Гале, та в ответ благодарно и понимающе смежила свои густые ресницы. Но в мыслях Есенин был с другой. И пел о той, единственной, которую любил, которая родила ему детей и с которой он недавно разошелся, о которую оцарапался душой глубоко. И рана эта кровоточила и не заживала до конца его дней.

Не гляди на ее запястья  
И с плечей ее льющийся шелк.  
Я искал в этой женщине счастья,  
А нечаянно гибель нашел.

Пел Есенин протяжно, с надрывом, по-цыгански. Две девицы повторили последние строчки как припев. Есенин, одобрительно кивнув им головой, снова взвился высокой нотой:

Я не знал, что любовь – зараза,

Я не знал, что любовь – чума.  
Подошла и прищуренным глазом  
Хулигана свела с ума.

Предоставив девицам спеть припев из последних двух строк, он как заправский гитарист аккомпанировал им, ловко перебирая струны. Следующий куплет вместе с Есениным запел Сандро, отчего песня стала еще разгульней:

Пой, мой друг. Навей мне снова  
Нашу прежнюю буйную рань.  
Пусть целует она другова,  
Молодая красивая дрянь.

У девиц оказались неплохие голоса, хотя изрядно пропитые и прокуренные, зато чувств было – хоть отбавляй. Они кокетливо подергивали плечами и щелкали пальцами.

Пристукивая в такт пению каблучками, девицы рвались в пляс, и только присутствие серьезных людей сдерживало их.

– Что вы, Катя? – спросил удивленный Наседкин, видя, как у Кати на глаза навернулись слезы.

– Сережа с Зинаидой... с женой разошелся!

– Эка беда! – пытался пошутить Наседкин, но осекся.

– Детей жалко. Маленькие они, – шептала, всхлипывая, Катя. – Сережа Танюшку любит! Что теперь будет? Господи! Он пить стал больше! Сумасшедший прямо иногда!

А Есенин меж тем продолжал:

Льется дней моих розовый купол.  
В сердце снов золотых сума, —

и с вызовом, в лицо всем:

Много девушек я перещупал,  
Много женщин в углах прижимал.

Девицы завизжали от восторга:

– Браво, Есенин! Нас еще не прижимал!!

Кусиков пригрозил им кулаком:

– Тихо! Вы... Давай, Сергей! Один!

Сделав небольшую паузу, Есенин пропел тихо, обреченно опустив голову:

Да! Есть горькая правда земли,  
Подсмотрел я ребяческим оком:  
Лижут в очередь кобели  
Истекающую суку соком.

И снова, резко ударяя по струнам, бросая вызов всем женщинам, которых он любил и любит, набычившись, упрямо замотал русыми кудрями:

Так чего ж мне ее ревновать,  
Так чего ж мне болеть такому.

Наша жизнь – простыня да кровать.  
Наша жизнь – поцелуй да в омут!

Девы под припев пустились в пляс, настолько захватывающе звучали последние строчки стихотворения. Сандро Кусиков, размахивая руками, как истинный горец, на цыпочках вился вокруг пляшущих, вскрикивая: «Асса! Асса!»

И все хором вместе с Есениным уже не пели, а истошно кричали:

Пой же, пой! В роковом размахе  
Этих рук роковая беда.  
Только знаешь, пошли их на хер.  
Не умру я, мой друг, никогда.

– Bravo! Bravo! Есенин! – аплодировали и кричали все разом.

Блюмкин обнял Есенина и расцеловал.

– Вы все должны учиться у него! Пигмеи! Наша жизнь – простыня да кровать... Сегодня жив, а завтра в омут... Пойду еще выпивки достану! – Скинул халат и, надев кожаную куртку, сунул в карман наган.

– Яшенька, может, хватит?... Наган оставь, зачем наган? – встрепелась Нора, с тревогой посмотрев на гостей.

– «Только знаешь, пошла ты на хер, не умру я, мой друг, никогда!» – зло процитировал Блюмкин.

– Яков, ты совсем одурел! Прекрати, слышишь! – первым возмутился Мандельштам. – А то я уйду!

– Яков Григорьевич, ты в своем уме? – решительно поддержал его Ганин.

– Это уже не смешно, Яков Григорьевич, – добавил Мариенгоф, больше обращаясь к присутствующим.

– Что с тобой, Яшенька? Яша, я тебя не узнаю, – заплакала Нора.

– Это я тебя не узнаю... истекающая... сука... соком... – мстительно пробормотал пьяный Блюмкин.

Есенин побледнел, положил гитару и, встав в дверях, преградил ему дорогу.

– Опомнись, Яков! За что ты ее? Какая муха тебя укусила? Не уходи никуда... не пушу, ты же пьян!.. И вообще, хватит вина, я не буду больше пить!

– Да, Григорич, мы тоже не будем, уж если Есенин пить отказывается, – съязвил Мариенгоф.

– Сидеть! Всем сидеть! – крикнул Блюмкин. – Я сейчас. – Подойдя к Есенину, стоявшему в дверях, прохрипел, сунув руку в карман:

– Прочь с дороги!

– Ты с ума сошел, Яков! Ты с ума сошел! – не двинулся с места Есенин.

– Считаю до трех, – Блюмкин достал наган. – Раз! Два! Три! – И нажал на курок, целясь Есенину в лицо. Выстрела не последовало, только холодный щелчок, но и он произвел на всех впечатление еще большее, нежели бы прозвучал сам выстрел. Все оцепенели.

Ганин яростно бросился на Блюмкина и заломил ему руку:

– Что сидите?! Сандро, Толя, помогите!

Девы истерично закричали. Бениславская вцепилась в волосы Блюмкину. Кусиков бросился на помощь Ганину, выхватил у Блюмкина наган. Поясом от халата они связали ему руки за спину, и тот сразу скис.

– Пустите! Я пошутил, наган не заряжен... Развяжите! Ну, больно же руки! – почувствовав чужую силу, Блюмкин сразу протрезвел.

– Ладно, давай развяжу! – пожалел его Есенин.

Гости, спешно одеваясь, стали прощаться с женой Якова.

– Я не знаю, что это с ним? Простите, пожалуйста, нас, – извинялась Нора, вытирая платочком непрерывно текущие слезы. – Трезвый – милейший человек, а выпьет – сами видели.

Сандро, тайком передавая ей наган, прошептал:

– Спрячьте. И учтите, он заряжен! Просто была осечка, – и вышел, прихватив гитару и девиц.

– Боже мой! – ужаснулась Нора. Оглянувшись на мужа, она быстро вышла в спальню, сунула наган в свою шкатулку. – Извините, пожалуйста, – жалко улыбнулась она, вернувшись к гостям. – Так хорошо было, и вот...

– Ничего-ничего! С кем не бывает! Переутомился... Все в порядке, – произнес, прощаясь, бодрым тоном Мариенгоф и исчез за дверью.

Есенин подошел к Норе, поцеловал руку.

– Я заеду завтра. Нам ведь в Кремль с ним. Спасибо, Нора, до свидания. Галя, Катька, поехали!

Девушки, стоя уже в дверях с Наседкиным, вежливо попрощались с хозяйкой.

– До свидания! Спасибо! – Мандельштам поцеловал руку Норе и, не обращая внимания на Блюмкина, вышел следом.

Есенин, дождавшись, когда Ганин наденет пальто, подошел к Блюмкину.

– Дурак ты, Яша, и шуточки у тебя дурацкие! Завтра стыдно тебе будет... по себе знаю. До завтра! Пропись! Пошли, Леша!

Когда они были уже в дверях, Блюмкин на прощанье крикнул:

– За мной должок, дорогие имажинисты! Долги я всегда плачу! Ганин, тебе первому! Будь спок!

Ганин вернулся и, наклонившись к нему, что-то с веселой усмешкой прошептал, а вслух добавил:

– Понял, морда пьяная! – и вышел вслед за Есениным, аккуратно притворив за собой дверь.

Нора, не желая оставаться вместе с мужем, ушла к себе в спальню.

Оставшись один, Блюмкин, пошатываясь, походил по комнате, поглядел на дверь, прислушался к удаляющимся шагам гостей. Потом достал из стола расстрельные листки и, обмакнув ручку в чернильницу, стал заполнять.

«В ГПУ. Ганин Алексей, 1893 года. Поэт. Большевистскую диктатуру воспринял как геноцид ко всем народам, кроме еврейского.

На основании декрета «О борьбе с антисемитизмом», принятого в 1918 году, прошу назначить Алексею Ганину мерой наказания лагерь особого назначения либо высшую меру – расстрел».

И подписался: член ВЧК Яков Блюмкин.

У Бениславской Ганин сразу же уселся за стол, налил себе чая из самовара и, неторопливо макая в стакан черствый сухарь, принялся с наслаждением грызть его, изредка прихлебывая.

– И то, что он тебя с Лубянки вызволил, Серега, ни о чем не говорит, – сказал он Есенину, стоявшему у широкого «венецианского» окна. – Им нужен ты... Ты – Россия! Понимаешь? Из нас, крестьянских поэтов, ты самый яркий. Они хотят тебя приручить. Помни мое слово: они будут душу твою за серебренники покупать... Все они такие, Лейбманы...

– А Леня Каннегисер? – спросил Есенин, продолжая глядеть в окно. – Что его толкнуло на убийство начальника Петроградского ЧК Моисея Урицкого в восемнадцатом году?

Галя Бениславская, переодетая по-домашнему в скромный халатик, сидя на своей кровати, укутавшись в накинутую на плечи шаль, ответила, глядя на Есенина:

– Наверное, желание отомстить за погибшего друга.

Ганин усмехнулся.

– Нет, друзья мои. Я убежден: чувство еврея-интернационалиста, желающего перед русским народом, перед историей противопоставить свое имя именам других евреев – Урицких и Зиновьевых – и для этого совершить акт самопожертвования...

– Психологическая основа была, конечно, сложная, – согласился Есенин. – Но думаю, что она состояла из самых лучших, самых возвышенных чувств.

Глядя с седьмого этажа на виднеющийся в надвигающихся сумерках Нескучный сад, Воробьевы горы, купола Новодевичьего монастыря и темной синевой отливающуюся ленту Москва-реки, он вспомнил, как Каннегисер был у него в Константинове в 15-м году, бродил по берегу Оки. Ночуя в лугах, говорили, сидя у костра, до самого рассвета. Черные глаза молодого поэта Лени Каннегисера напоминали ему глаза Левитана, его неподдельный восторг, истинную горячую любовь к России, ненависть к ее поработителям. Эх, Леня, Леня! И, повернувшись к Ганину, Есенин проговорил с горечью:

– Между прочим, в тюрьме ВЧК меня бил Самсонов. Русский! И в камере провокатор был тоже русский... Ладно! Хватит об этом... Давайте выпьем, что ли. Галя, у тебя ничего нет? – спросил он с робкой надеждой.

– Есть! – засмеялась Галя. – Но с условием: выпьем, но искать больше не будем... как Блюмкин. – Она соскочила с кровати и, сходя в чулан, вернулась с бутылкой вина, видимо, припасенного для такого неожиданного случая. – Бедная Нора, как она может жить с ним, – добавила она, ставя бутылку на стол.

– Любовь зла, полюбишь и козла... – грубо сострил Ганин.

– А Катька где? – спросил Есенин, разглядывая этикетку на бутылке.

– С Наседкиным пошли гулять по ночной Москве... Мне кажется, Сережа, Наседкин давно увлечен Катей.

– Сопля она еще! Какой может быть серьез?

– Этой сопле уже девятнадцать лет, она красивая и стройная девушка, – не сдавалась Галя, подавая штопор и чистые стаканы. – А Наседкину столько же, сколько тебе!

– Но он же поэт! – поморщился Есенин.

– Ты тоже поэт.

Ганин, увидев реакцию Есенина, захохотал:

– Ну ты сравнила хер с пальцем!

– Я прошу не материться в моем доме! – возмутилась Галя.

– Леша, ты што, ох... охренел? Выгонит – куда нам деваться? Мариенгоф женился, дорога к нему заказана. Так что приспичит материться – иди в сортир и изрыгай... Я прав, Галечка? – шутивно-угодно произнес Есенин, разливая вино по стаканам.

Галя ответила ему влюбленным взглядом, благодарно кивнув головой.

– Ну, чокнемся, – Есенин поднял стакан. – А Катька... то есть Екатерина Александровна, девятнадцати лет от роду получит от меня... – глянул он на Галю, – ... на орехи! Как, я культурно выразился, Галечка?

– Да, очень. Спасибо, – и еще раз чокнувшись с Есениным, стала пить маленькими глоточками.

Есенин, залпом выпив свое вино, вздохнул, с грустью глядя на опустевший стакан:

– Жизнь – это глупая штука! В ней все пошло и ничтожно. Ничего в ней нет святого, один сплошной хаос разврата... – задумался он о чем-то своем. – Все люди живут ради чувственных наслаждений...

– Не надо, Сережа, – нежно коснулась его руки Бениславская.

– ...но, правда, есть среди них в светлом облике непорочные, чистые, как бледные огни догорающего заката.

– Красиво, – Ганин налил себе из бутылки. – Дети мои, не стесняйтесь, скажите, если мне пора уходить.

– Еще слово, Леша, и я... я пойду в сортир материться.

Ганин встал и, подняв стакан, будто тост в честь хозяйки дома, прочел:

Русалка – зеленые косы,  
Не бойся испуганных глаз,  
На сером оглохшем утесе  
Продли нецелованный час...

Галя застеснялась откровенного намека на ее чувство.

– Не смущайся, Галя, – вступился за нее Есенин. – Эти стихи он Зинаиде Райх посвятил, когда мы с ней венчались под Вологодой...

– Да, на моей родине... в церкви Кирика и Улиты, – подтвердил Ганин. – Все верно. Любил ее, а она вышла за тебя.

Под небом мой радужный пояс  
Взовьется с полярных снегов,  
И снова, от холода кроясь,  
Я лягу у диких холмов!  
Шумя, потечет по порогам  
Последним потоком слеза,  
Корнями вrastут мои ноги,  
Покроются мхами глаза.  
Не вспомнится звездное эхо  
Над мертвою зыбью пустынь;  
И вечно без песен и смеха  
Я буду один и один... —

прочел Есенин до конца стихотворение друга, словно желая этим отблагодарить его, утешить.

Ганин обнял Есенина:

– Спасибо, Сергун! Тронут! Надо же! Наизусть! Здорово! Я думал, ты только свои стихи помнишь...

– Чужие тоже, – засмеялся Есенин, довольный, что угодил ему. – Если они того стоят. Твои стоят. Правда, не все. Извини, брат.

– А правда, Сергей, что ты с Зинаидой разошелся? – простодушно спросил Ганин.

Есенин молча кивнул.

– Да полно тебе, Галя, что за секреты! – сказал он, заметив ее умоляющий жест. – Живет она теперь с ученым, умным мужем, и не нужна ей наша маета, и сам я ей ни капельки не нужен. С Мейерхольдом она, Леша! С Всеволодом Эмильевичем! К нему ушла... в театре у него... прима...

– Артистка?! – удивился Ганин. – Не поздновато ли в ее годы?

– Я видел ее в «Даме с камелиями», – пожал Есенин плечами. – Лучше бы не видел! Какая она артистка! Это видно всем, кроме Мейерхольда... Но он в своем театре хозяин, что хочу, то ворочу. Ладно, бог с ними! – закончил он, видя, что Галя осуждает его откровения. – Скучно! Выпить больше нечего? Может, мы?... Ах, да! Слово дал! Давайте спать, что ли.



Есенин на минуту задумался: «Завтра с Блюмкиным – в Кремль, к Троцкому. «Что день грядущий мне готовит?..»»

– Сережа, я тебе постелила в темной комнате... где топчан походный. Там неплохо, только темно, – засуетилась Галя, – но ты возьми свечку. Мы с Катей на кровати, как она вернется, а вы, Леша, вот тут, у окна. Я сейчас положу матрасик, и подушка есть, а укроетесь пальто.

– Не беспокойтесь. Галя, добрая душа! Я рано утром уйду, – помогая Есенину отодвигать стол от окна, сказал Ганин. – По издательствам пойду. Везде блокируют... стихи возвращают, бл... – чуть не выругался он. – А если берут – денег не платят... Жить нечем. Эх! – горько вздохнул он, взяв папиросы со стола. – Вы ложитесь! Я пойду на лестницу, покурю.

Пройдя тускло освещенную прихожую, он вышел на площадку и увидел, как по лестнице метнулась чья-то тень и кто-то затопал вниз по ступенькам.

– Эй! – крикнул он вдогонку. – Кто тут? Слышь ты, сволочь? Что прячешься?

Далеко внизу хлопнула входная дверь.

В комнате Галя постелила на пол матрасик, подушку, разобрала свою кровать.

– Отвернись, Сережа, я разденусь.

– Что? Да-да... – отвернулся Есенин, но в зеркале трюмо ему было видно, как раздевается Галя. Он увидел ее грудь, стройную фигуру.

– Я тоже пойду покурю, – сглотнул он слюну.

– Дверь входную не забудьте покрепче захлопнуть, а то замок плохой, – юркнула она в кровать, укрывшись с головой одеялом.

На площадке Есенина встретил испуганный Ганин.

– Т-с-с-с! – приложил он дрожащий палец к губам.

– Ты чего, Леша? – прошептал Есенин.

– Кто-то стоял у двери, слушал. Как я вышел, убежал!

Есенин замер, прислушался, заглянул в темноту лестничного пролета. Испуг друга отозвался в нем нервной дрожью.

– Это меня... Как зверь чувствую! Меня они хотят убить! – И устыдившись своего страха перед другом, крикнул с вызовом: – Эй, вы, суки! Идите! Идите сюда!..

Но в ответ лишь испуганная кошка метнулась мимо них.

«Мяу! – злобно мяукнула она, словно угрожая. – Мяу!»

Есенин прикурил и, щелчком швырнув догорающую спичку в темноту, глубоко затаился раз, другой, третий.

– Жуть, Леша! Сумасшедшая, бешеная, кровавая жуть! В тюрьме ВЧК я слышал, как расстреливали во дворе... каждую ночь! Что-то не то в нашей России творится!

– Я давно это понял... и сделал выводы... – приглушенно заговорил Ганин. – Нам надо бороться с ними. Нужно организованное сопротивление. Для этого не обязательно большое количество людей, хотя нас уже много, таких, кто готов идти до конца. Террор! Вспомни историю бомбометаний в России. Они сами подали пример... Основа нашей программы – национализм. На этом чувстве можно вести за собой всю громаду народа.

– У вас и оружие есть?

– Оружие – дело второстепенное... не вооруженность решает дело, а воля, спокойствие, хитрость, затаенность. Надо закалять в себе волю! А оружия можно достать сколько угодно... Я умею делать пироксилин. Щепотка в жестяной банке взорвет массу народа...

– Опять кровь?!

– Да! Кровь за кровь!

– Брат на брата?

– Это бесноватый Блюмкин, который нынче чуть не застрелил тебя? Он тебе брат? Или Лейба Бронштейн, что приглашает тебя завтра в Кремль, чтобы поставить «раком» и

отодрать... В общем... переворот рано или поздно будет! Ты знаешь, у нас уже есть список будущих министров. Я тебя, Серега, включил министром народного просвещения. Не веришь? У нас и типографский шрифт есть!

– Ты больной, Леша? Бросай нюхать кокаин! А меня из списка вычеркни! – жестко потребовал Есенин. – Нашел министра...

– Не хочешь, не надо! Будет Приблудный министром. Только не пожалей потом.

– Не пожалею, контрреволюционер хренов! – Есенин бросил под ноги папиросу, раздавил каблуком. – Хватит! Пошли спать, – отворил он дверь.

– Может, еще винца? – заспешил за ним Ганин.

– Будет тебе, ты и без вина виноватый. Ложись и ни гугу, а то ты меня знаешь, я и в морду дам, не посмотрю, что друзья.

– Молчу, молчу! Правильно, Серега! Бей своих, чужие бояться будут! – Он разулся, положил ботинки под матрас, накрылся своим пальто и затих.

Есенин посмотрел на отвернувшуюся к стене Галю, взял со стола свечу и пошел в чулан. Поставил свечу на стул. Разделся, лег, закинув руки за голову. Через какое-то мгновение дверь в чулан скрипнула, и, крадучись, вошла Галя, босиком, без халата, в одной сорочке... Встала перед Сергеем, прижав руки к груди.

– Ты что, Галя? Ганин пристаёт?

– Нет! Я сама к тебе... Тоскливо, Сережа! – прошептала она, задыхаясь.

– Глупости не надо делать даже с тоски, – вдруг тоже часто задышал Есенин.

– Я люблю тебя, Сережа, – заплакала Галя. – Я обрадовалась, как узнала, что ты разошелся с Райх. Прости! Я с ума схожу. Я люблю тебя! Возьми меня... у меня еще никого не было.

Южный темперамент, унаследованный от матери-грузинки, от отца-француза, свобода чувств захлестнули ее. Она медленно сняла с себя рубашку, мгновение постояла, словно давая полюбоваться Есенину своей девственной чистотой, и, дрожа всем телом, осторожно легла на него, легким выдохом погасив свечу.

В комнате Ганин приподнял голову, прислушиваясь к стонам и вскрикам, доносившимся из чуланчика.

– «Наша жизнь – простыня да кровать, наша жизнь – поцелуй да в омут», – как молитву прошептал он слова друга.

Редко девушка в первую свою близость с мужчиной испытывает восторг физического наслаждения. Все происходит не так, как мечталось. Но Есенин был из той породы мужчин, которые, удовлетворяя свою страсть, не были «эгоистами». «Небольшой, но ухватистой силою» он всегда давал возможность женщине испытать «восторг сладострастия», сколько ей этого хотелось. И, видимо, поэтому любовь Галины к Есенину – человеку, личности слилась с удовлетворенной женской страстью в одно огромное чувство, которое делает женщину либо «рабою», либо «деспотом».

В Гале проснулась «рабыня». С этой ночи она стала по-собачьи предана ему. Наутро, поливая Есенину воду из чайника, когда он традиционно мыл свою кудрявую голову перед серьезным деловым свиданием, она торопливо наставляла его.

– Знай еще: Троцкий – Сальери нашего времени. Он может придумать тебе конец не хуже моцартовского... Он сумеет рассчитать так, чтобы не только уничтожить тебя физически, но и испортить то, что останется... Всякую память о тебе очернить. – Она подала Есенину полотенце. – И еще, Сережа! Умоляю, в Кремле... там у них, не показывай свою храбрость... не поймут, то есть поймут, но не так, как надо...

– Я приглашен ко Льву в пасть к тринадцати, видимо, на обед, – пошутил Есенин, уже одетый в свой лучший серый костюм, причесываясь перед зеркалом.

– Я серьезно, Сережа! Зло против тебя у него в глубине большое, сам знаешь... Он хорош с тобой, пока ты ему нужен.

– Да уж, – согласился Есенин и пропел, оглядывая себя всего и приплясывая:

Что-то солнышко не светит,  
Над головушкой туман.  
То ли пуля в сердце метит,  
То ли близок трибунал!

Эх, доля, неволя...

.....

– Неотразим! – обняла его Галя, поправляя отдельные кудряшки на лбу, и потянулась губами для поцелуя.

– Ну тебя! Запугала совсем, – отстранился Есенин. – На месте разберусь!

Галя обиженно отошла, достала белый платок, подала Есенину.

– Возьми, он чистый! Внимательно смотри! Ну, с Богом... то есть удачи вам, Сергей Александрович.

Есенин почувствовал ее обиду. Он остановился в дверях и, решительно обернувшись, глядя ей прямо в глаза, произнес:

– Вы потрясающий человек, Галя... у меня сейчас никого нет ближе вас, то есть тебя... но, прости... я... я все-таки не люблю тебя, как Райх... как Зину! Прости! Но так уж вышло... Я теперь вот живу у тебя... о тебе могут нехорошо подумать... Хочешь... хочешь, женюсь, официально женюсь? – добавил он обреченно.

Бениславская отвернулась к окну, скрывая наворачнувшиеся слезы отчаяния и горечи.

– Я... Я не пойду за вас замуж, Сергей Александрович, только из-за того, чтобы люди об мне хорошо думали... Иди, Сережа, я сама отвечаю за себя! Пусть будет все, как оно есть!

Есенин хотел что-то сказать, как-то утешить девушку, но, не найдя слов, глубоко вздохнул и, неопределенно взмахнув рукой, вышел.

Галя, оставшись одна, на запотелом окне пальцем стала писать строчки из стихотворения теперь близкого, но оставшегося бесконечно далеким Есенина:

Предрассветное. Синее. Раннее.  
И летающих звезд благодать.  
Загадать бы какое желание,  
Да не знаю, чего пожелать!..  
Что желать под житейскою ношею,  
Проклиная удел свой и дом!

Стерла написанные на стекле строчки и беззвучно зарыдала.

## Глава 4

### В пасти у льва

У Спасских ворот, в пальто нараспашку, в чуть сдвинутой на затылок шляпе Есенин ходил взад-вперед, с тревогой поглядывая по сторонам, нетерпеливо постукивая ного об ногу.

«Твою мать, Яша!.. Неужели не протрезвел... А может, натрепал?... Вчера, если бы не осечка... Что ж, у каждого человека своя судьба! – думал он. – Своя дорога. Идти по ней порой тяжело, временами просто невыносимо, страх сковывает сердце, чугунами становятся ноги... Но чувствую, что предназначение мое высокое! Буду идти!.. Что бы ни случилось...»

Тоска сдавила душу. Спасская башня, враждебно нависая, угрожала опрокинуться, подмять его... Теснимый мрачными мыслями, Есенин не заметил, как подкатила пролетка и из нее выскочил Блюмкин.

– Молодец! Уже здесь, – бросил он на ходу. – Пошли, а то опаздываем!

Часы на башне проббили два раза.

– Я Блюмкин, – сказал он, показывая часовому свой мандат. – А это писатель Есенин со мной. Вот его приглашение.

Часовой, не взглянув на бумажку, взял под козырек:

– Здравствуйте, товарищ Блюмкин! Проходите!

Когда они миновали часового у входа в здание и Блюмкин во второй раз представил его писателем, Есенин спросил:

– Почему, Яков, ты меня писателем обозвал?

– Для солидности. Что эти серые шинели могут понимать в поэзии? Тем более латыши... Ой! Здорово вчера гульнули... ничего не помню! – засмеялся он, краем глаза проверяя Есенина. – Ты-то как?

– Все в порядке.

– Где обосновался?

– У Бениславской... пока.

– Это хорошо! Галя... это хорошо... наш человек!

– Ваш? Как это понять?

– Ну, в смысле, преданный делу революции человек... – Уклончиво ответил Блюмкин. – Ну вот и пришли.

Секретарь в приемной, взглянув на часы, укоризненно покачал головой.

– Здравствуйте, товарищи! Лев Давидович уже о вас спрашивал, товарищ Есенин. – И, взяв трубку, доложил: – Лев Давидович, Есенин прибыл... Слушаюсь! Проходите, товарищ Есенин!

– Давай, Есенин! Это твой шанс, не упusti! – хлопнул Есенина по плечу Блюмкин.

– А ты разве не идешь? – растерялся Есенин.

– Нет. Он же тебя вызывал. А у меня здесь работа... Давай! Потом увидимся.

За большим столом Троцкий читал бумаги и даже не взглянул в сторону вошедшего Есенина. Когда затянувшаяся пауза стала совсем длительной, Есенин кашлянул в кулак.

– Здравствуйте, Лев Давидович!

– А? Что? А-а-а... это вы, Сергей Александрович... – Он изобразил на лице смертельную усталость государственного деятеля. – Заждался я вас!

Не предложив Есенину сесть, Троцкий начал что-то писать.

– Извините, сейчас закончу... Ну вот и все! – сказал он, вставая и выходя из-за стола. – Здравствуйте, Есенин, здравствуйте!

Он оскалился мефистофельской улыбкой, опустив свой ястребиный нос.

Небо как колокол.  
Месяц – язык.  
Мать моя Родина.  
Я – большевик!

– Так кто вы, Есенин? Большевик или попутчик? – и, не дожидаясь ответа, возможно, и не желая его, нравоучительным тоном, пытливо глядя сквозь стекла очков на Есенина, продолжил визгливым голосом: – На совещании ЦК РКБ (б) по вопросам литературной политики особое внимание было уделено отношению большевистской партии к «попутчикам» и прежде всего крестьянским поэтам и писателям. У нас должна быть крестьянская литература. Ясное дело, мы должны давать ей ход.

Заложив одну руку за спину, другой размахивая, он ходил взад-вперед перед стоящим Есениным, словно читая лекцию перед аудиторией.

– Должны ли мы ее душить за то, что она не пролетарская? Это бессмысленно... Но мы держим курс на то, чтобы привести крестьянина под руководством пролетариата к социализму, используя все радикальные революционные средства. Понимаете? Радикальные! Я всегда с предельной прямоотой указывал на важность жесткой диктатуры пролетариата, необходимость принуждения! Подчеркиваю – принуждения по отношению к крестьянству.

– И в области художественной литературы? – обратил на себя внимание Есенин.

– И в области литературы, и в других идеологических областях! – Черный клочок бородки Троцкого вызывающе дернулся. – Нам надо создавать новую литературу, которая была бы верной опорой большевистской власти. Новое революционное искусство должно стать воспитателем и наставником масс... А у вас что? «Исповедь хулигана»? – неожиданно остановился он перед Есениным. – Хотите быть «желтым парусом в ту страну, куда мы плывем...»? Не выйдет, Есенин, – погрозил он пальцем. – Я вижу, что мое стремление к дальнейшим революционным преобразованиям и резкая критика в отношении работы партийно-государственных органов вызывает страх у многих чиновников, привыкших жрать и пить в три горла... Кстати! Вы читали мою статью «Литературные попутчики революции»?

Есенин кивнул.

– Да, Лев Давидович!

– Это хорошо! Очень хорошо! В ней как будто собраны все мои статьи! Тогда вы понимаете, о чем говорю? – Троцкий снял пенсне, не снял, а скорее сдернул, и нацелил белые от злобы глаза на Есенина.

«Что он со мной, как со школяром? Чего он хочет?» – пытался понять Есенин.

– Я считаю, что поэзия Клюева ущербна, – продолжал Троцкий, чеканя каждое слово как приговор. – И его дальнейший путь – скорее от революции. Слишком уж он насыщен прошлым. А вот с вами, Сергей Александрович, не все так просто, – снова оскалился он улыбкой. – С большого таланта и спрос большой... Мне вот не нравится ваша драма «Пугачев». Емелька ваш, его враги и соподвижники – сплошь имажинисты...

Есенин хотел было запротестовать, но Троцкий остановил его жестом.

– И все же, несмотря на большие претензии к вам, Сергей Александрович, учитывая вашу молодость и опять же, повторяю, большой талант, мы дарим вам возможность продолжить работу в новой литературе. При условии, что вы сможете стать революционным поэтом. А пока, товарищ Есенин, вы попутчик революции, «желтый парус», как вы сами о себе выразились в «Исповеди хулигана».

– Пусть я не близок коммунистам, как романтик в моих поэмах, – стал оправдываться Есенин, – но я близок им умом и... и надеюсь, что буду, может быть, близок и моим творчеством.

– Я тоже надеюсь, – прервал Троцкий. – Поэтому и пригласил вас. Мало поэтов, которые остались с революцией... Блюмкин мне доложил, что вас арестовала ВЧК... Сколько вы провели в тюрьме?

– Восемь дней!

– Восемь дней?! – покачал он сочувственно головой. – В чем обвиняют?

– В контрреволюции, – ответил Есенин.

Троцкий зашелся в дьявольском хохоте.

– Теперь уже и в контрреволюции?! Идиоты!!! Я знаю ваше творчество, Есенин, – заговорил он, успокоившись, – пристально слежу за ним... Вы смелый человек, порой безрассудно смелый, поэтому я буду говорить с вами настолько откровенно, насколько позволяет мне мое положение во власти.

Есенин весь внутренне подобрался: «Держи ухо остро, Сергун!» – вспомнил он Галины наставления.

– Все эти провокации в отношении вас... да-да, именно провокации и ничего более, я так считаю, – губы у Троцкого сжались, – обвинения в антисемитизме при каждом пьяном скандале, – это всего лишь вызов мне, Льву Троцкому. Вся эта кампания против Есенина и других крестьянских поэтов, обвинения в антисемитизме – результат моего напряженного противостояния триумvirату Зиновьев – Сталин – Каменев. Борьба за власть достигла такой кульминации, при которой все средства хороши.

– Я не понимаю, кому и для чего, как вы говорите, в борьбе за власть понадобилось поднимать шумиху вокруг инцидента в пивной, – искренне изумился Есенин.

– Объясню популярно, – презрительно скривил губы Троцкий. – Мои политические противники, коих я назвал... и иже с ними... помимо умаления моего значения в истории революции как председателя Реввоенсовета, как руководителя Октябрьского восстания, не побрезговали разыграть национальную карту... В общем... приписываемые вам и бесконечно повторяемые в центральной прессе пассажи о «жидовской власти» предназначаются для привлечения внимания народа и, прежде всего, членов партии к развернувшейся кампании по борьбе с антисемитизмом... Этим малограмотным людям предлагают задуматься: «Уж не тот ли Троцкий, которого поэты якобы ругали в пивной?! Ага! Видно, не зря поговаривают, что на словах-то Троцкий за демократию, а получит власть – житья не даст! И пива спокойно не попьешь!»

Есенин улыбнулся.

– Да, Сергей Александрович, а кто усомнится в антисемитизме Есенина, о котором так гневно писал член ЦК товарищ Лев Сосновский? Так-то, Сергей Александрович!

Есенин изобразил на лице непорочную наивность:

– Мне мстят за вашу доброжелательность ко мне?!

– Если хотите, можно понимать и так... примитивно... В контексте этой борьбы, когда партия, каждый ее член, лавируя между вождями, стремится в то же время быть предан пролетарской идеологии... Ваша поэзия, Сергей Александрович, выступает разменной монетой, с помощью которой, играя в друзей трудового крестьянства или во врагов, можно заработать хорошие очки в аппаратной схватке.

– Я один, что ли? – опешил Есенин.

– Ну, и других крестьянских поэтов... Но именно вас, как самого талантливого из современных русских поэтов, используют во взаимоотношениях между нациями.

– Вот блядь! – вырвалось у Есенина. – В какой омут я попал!

Троцкий засмеялся его непосредственности.

– Да, бляди! Политические проститутки! Образнее и не скажешь! В омут... именно в омут! В омут невидимой, тайной и грязной борьбы за власть попали вы, Сергей Александрович. Но политика не терпит сантиментов: «а-ля гер ком а-ля гер...». У меня к вам одна просьба: не давайте повода для этих провокаций милиции и ВЧК! А в остальном я вам помогу, – он глянул на часы. – Где вы печтаетесь?

– «Красная новь», – ответил Есенин.

– Знаю. Редактор – Воронский. Хороший журнал. Я там тоже печатаю свои статьи. Правда, там же публиковал резкие выпады против меня Вардин... Вы с ним не знакомы? – словно невзначай спросил Троцкий.

– Нет, то есть я познакомился с ним через Анну Берзинь, это было в Кремлевской больнице. Он настойчиво советовал начать работу над темой революции и ее вождей.

– Вождей, конечно, Зиновьева, Сталина, Каменева, Бухарина? – вставил Троцкий. – Ну, а вы? – продолжал выпытывать он.

– Энтузиазма не проявил, – вывернулся Есенин.

– И навлек гнев высокопоставленного большевика?

– Напротив, он даже предложил поселиться в его великолепной квартире.

Троцкий насторожился.

– Но я отказался. Не желаю быть обязанным.

– Как всегда, вы поступили опрометчиво, Сергей Александрович! И скоро это почувствуете, последствия не заставят ждать... – Он отошел к столу, сел на стул, потянулся и, не стесняясь, широко зевнул. – Извините, не высыпаюсь! Дел по горло!

«Лев разинул пасть, – насмешливо подумал Есенин. – А зубы-то у тебя вставные...»

И отчаянно, словно ныряя в этот «омут» с головой, спросил с неподдельным трепетом:

– Лев Давидович, только откровенно... Вы лично считаете меня антисемитом?

– Ну вот! Опять на колу мочало... – Не сразу нашелся Троцкий. – Глупость! Знаете, Сергей Александрович, стоит мне лишиться своего могущества, как эти сосновские, устиновы, бухарины не стесняясь и меня обвинят в русофобии. Они будут спрашивать со страниц газет и прочих изданий: «Может, происхождение Бронштейна-Троцкого мешает поверить в историческую возможность русского народа?» Никакой вы не антисемит, так же как я никогда не был и не буду русофобом... – Как бы отвечая уже не Есенину, а более серьезному и грозному оппоненту, Лев Давидович вновь превратился в «трибуна» вождя революции. – Просто работает система, созданная Лениным для захвата и удержания власти любой ценой. И эта система, в создании которой и я принимал активное участие, сумела разрушить Российскую империю не потому, что она более эффективна и совершенна, а потому, что ее набор средств борьбы за власть не имеет никаких морально-этических ограничений. И эта игра на национальных чувствах – лишь небольшое и не самое ужасное средство для выживания! – Троцкий поглядел на часы. – И хватит об этом! Хотите издавать журнал?

– Это так неожиданно, Лев Давидович, – опешил Есенин, не ожидая такого поворота.

– Ну почему же... Не надоело зависеть от Воронских, Устиновых и прочая, прочая? Начинайте свое дело! Денег я дам, сколько потребуется, только определитесь, с кем вы, Есенин! Но... если в вашем творчестве не произойдет поворота, ваш поэтический путь для меня закончится, вы меня поняли?

– Понял, – коротко ответил Есенин. В голубых глазах его блеснули льдинки, зубы крепко сжались.

– И еще, Сергей Александрович, – продолжал Троцкий тоном покупателя, уже совершившего выгодную сделку. – Хотелось бы убедить вас, Есенин, что современный революционный художник не должен обращать слишком много серьезного внимания на тяготы жизни народа, его нищету или просчеты властей. Поэту следует устремлять свой взгляд в будущее, в то время, когда мировая революция объединит все народы в одну счастливую семью. Вы

должны дать людям надежду, что все испытания и страдания их не будут бесконечными. Вот я лично... Я лишен меркантильных забот о своем собственном очаге! – Тут Есенин непроизвольно оглядел огромный кабинет Троцкого. – Будьте и вы выше быта и работайте ради светлого будущего.

– Я понял, – упрямо наклонив голову, как перед дракой, повторил Есенин.

– Так что поняли?

– Я... Я Божья дудка! – произнес Есенин с отчаянием.

Троцкий опять устало снял пенсне.

– Теперь уже я ничего не понял. Что значит «Божья дудка»?

– Я не разделяю ничьей литературной политики. Она у меня своя собственная. Я сам! Пишу, как дышу. Как говорят мужики у нас в Константинове, «че вдыхаю, то и выдыхаю». Понимаете, Лев Давидович? Северный крестьянин не посадит под свое окно кипарис, ибо знает закон, подсказанный ему причинностью вещей и явлений.

«А этот крестьянин «в цилиндре» не так-то прост... Видно, сколько волка ни корми... – Промелькнуло за стеклами очков Троцкого. – Ну что ж... Дышите, Есенин, дышите... Только не задохнитесь ненароком...»

– Все! До свидания! Надеюсь на вашу крестьянскую смекалку. Думаю, она вам подскажет, «че вдыхать и че выдыхать». Обращайтесь прямо ко мне или к Блюмкину. О нашем разговоре никому не «выдыхайте». Даже Бениславской... Хорошая девушка. Я слышал о ней от своего сына, Льва Седова... Эх, молодость, молодость! До свидания, Есенин, – попрощался Троцкий, демонстративно заложив руки за спину. И добавил вслед уходящему легкой походкой поэту: – Вам бы лучше уехать из Москвы, если предоставится такая возможность.

Выйдя из кабинета, Есенин увидел спешащего ему навстречу Блюмкина.

– Уже поговорили?

– От души. Денег предложил на издание журнала! – побледнел Есенин от ярости, вспомнив разговор с «трибуном революции».

– Я же говорил, – самодовольно ухмыльнулся Блюмкин. – Ну, а ты как?

– А я ни КАК и ни СИК!.. Я просто дышу, Яков Блюмкин, как Божья дудка. Тебе этого не дано понять!

– Нет, я понял. Понял, – озверел Блюмкин, как накануне в гостинице «Савой». – Зря я тебя из тюрьмы вызволил, Есенин, зря! Жалко, осечка вчера вышла, – крикнул он вслед удаляющемуся по коридору Есенину.

– И сегодня тоже, – обернулся Есенин. – Но за тобой это не заржавеет, Яша! Член Иранской компартии... Еще все впереди, я надеюсь! – И не осознавая, где он и кто сейчас вокруг него, или, наоборот, все прекрасно понимая, прочел на ходу, громко, с вызовом:

И пускай я на рыхлую выбель  
Упаду и зареюсь в снегу...  
Все же песню отмщенья за гибель  
Пропоют мне на том берегу.



## Глава 5 «Домино»

Был холодный, ветреный зимний вечер февраля 1924 года. Ветер неся по улицам и переулкам, то затихая, то снова усиливаясь, лохматил лошадиные гривы, вырывал клочки сена с возов. От его порывов хлопали входные двери и гремело оторванное железо на крыше. В свете качающихся фонарей снежные хлопья летели косо, быстро наметая сугробы.

Есенин и молодой ленинградский поэт-имажинист Вольф Эрлих шли по переулку, подняв воротники и придерживая рукой шапки. Есенин, стараясь перекричать вьюгу, шутливо выговаривал ему:

– Вы там у себя кричите: «Есенин, Есенин!..» В сущности говоря, каждое ваше выступление против меня – бунт!.. Что будет завтра – мы не знаем, но сегодня я вожак! Вот! – он вынул руку из кармана и показал массивный перстень, надетый на большой палец правой руки. – Видал?!

– Это же как у Александра Сергеевича?! – догадался Эрлих.

– Точно! Только ты никому не говори. Они – дурачье. Сами не догадаются, а мне приятно...

– Ну и дитё же ты, Сергей! А ведь ты старше меня.

– Да я, может быть, только этим и жив! – засмеялся Есенин и, сделав приятелю подножку, ткнул его в сугроб.

– Дурак вы, Есенин, и шутки ваши дурацкие, – заверещал Эрлих, выбираясь из сугроба.

Есенин снял шапку и стал отряхивать приятеля, поглядывая по сторонам. Когда они шли по переулку, Есенин заметил, как от подъезда дома напротив отделилась человеческая тень и на некотором расстоянии стала следовать за ними, изредка пропадая в подворотнях. «Вряд ли случайность», – подумал Есенин. И сейчас, озорно пошутив над Эрлихом, он уверился в своем подозрении. Человек в кожанке и такой же фуражке, избегая освещенных окон на первых этажах, пряча свое лицо в поднятый воротник, следовал за ними, не приближаясь и не отставая.

– Ну, наконец-то! Все как и обещано! Глянь, Вольф! За нами следят, – засмеялся Есенин коротко и невесело, нахлобучивая свою шапку на самые брови.

– Что за бред? – спросил Эрлих, вытряхивая попавший за шиворот снег. – Не преувеличивай, пожалуйста, свое значение, Сергей! Кому мы нужны? Что, у них других забот мало, за поэтами следить?

– А ты оглянись незаметно, – посоветовал Есенин. – Он давно идет.

Когда они вышли на Арбат, Эрлих обернулся как бы от порыва ветра и увидел спешащего за ними человека.

– Неужели правда, Сергей?

– А мы сейчас проверим... Давай зайдем, – предложил он Эрлиху, останавливаясь у кафе. – Пусть он померзнет, сука! А мы посидим за кружкой пива с зеленым горошком.

– В этом угаре... стоит ли тратить время? Может быть, лучше в «Стойло Пегаса», – предложил Вольф, косясь на остановившегося в отдалении человека в кожанке.

– Потом в «Стойло»! Иди и не рассуждай! – скомандовал Есенин, распахивая перед ним дверь.

Несмотря на солидное название, «кафе» оказалось убогой пивнушкой. На маленьком подобии сцены артистка, одетая в легкое, без рукавов, с большим вырезом на груди платье, пела хриплым голосом «Ухарь купец, удалой молодец».

– Что, не нравится? – спросил Есенин, садясь за свободный столик, снимая шапку и засовывая ее в карман пальто.

– Напрасно мы сюда зашли, – поморщился Эрлих, оглядывая пьяных посетителей. Он отодвинул пустые кружки и грязные тарелки и положил на стол свою шапку.

– Вот в эдакой обстановке, как здесь, среди звона стаканов, кружек, окурков, помню, сижу я пьяный с Орешиным, Ганиным и...

– Тоже пьяными, – уточнил Эрлих.

– Как ты догадался? Ну вот... А рядом, вижу, голова лежит, заснувшая. Пьяный еврей своей длинной бородой столик вытирает. Может, он действительно положил голову, засыпая, а мне взбрело в голову: «Подслушивает!» А может, Ганин бросил эту мысль, не помню. Ну и началось... Слово за слово, пивом в ухо!

– Как это все старо! – перебил его Эрлих. – Что еврей, что русский, не все ли равно? Особенно когда пьяны.

– Верно! – согласился Есенин. – Все одинаково напиваются и скандалят, но видишь, кому-то надо было подсунуть в это обыкновенное дело антисемитизм. Шутка?! Знаешь, что за это дают?

– Знаю! – ответил Эрлих, оборачиваясь на стук входной двери.

Есенин, увидев вошедшего преследователя, добавил:

– Я теперь знаю, кому и для чего это надо...

Подошел опрятно одетый в хороший костюм хозяин кафе. Оглядев быстро бегущими глазами Есенина, спросил Эрлиха:

– Будете заказывать? – И добавил по-еврейски: – Вы кто, из наших будете? Что-то вас в нашем заведении впервые вижу.

– При чем тут «из наших»? – застыдился Эрлих.

Хозяин слащаво заулыбался:

– Я это спросил, потому что я сам еврей и хозяин этого кафе. Так будем заказывать?

– Не будем, – поморщился Есенин. – Тут как в хлеву, пошли отсюда, – и он двинулся к двери, Эрлих за ним.

Пройдя мимо повернувшегося спиной к ним человека в кожанке, который сделал вид, что изучает прейскурант на стене, они вышли на улицу и бегом пустились по Арбату, поддерживая друг друга, если кто-то поскользнулся. На перекрестке Никитской и Суворовского бульвара, дождавшись трамвая, вошли в вагон, а в другой на ходу проворно вскочила «кожанка». Мельком взглянув на них, преследователь остался на площадке.

– Неужели правда, Сергей? – помрачнел Эрлих.

Есенин сидел в дребезжащем трамвае рядом с Эрлихом, смотрел в заиндевелое окно, молчал, грустно раздумывая. «Начавшаяся слезка не может кончиться ничем... она к чему-то приведет... Да! Веселого мало. Судьба, кажется, показывает норы, не подчиняясь моим желаниям!»

– О чем задумался? – толкнул его плечом Эрлих. – «Кожанка» тревожит?

– Хрен с ним, – сказал сердито Есенин. – Я о нем уже забыл. – Он выдохнул пар изо рта, откинув голову на спинку скамейки. – Думаю, надо к тебе в Ленинград подаваться, Вольф. Здесь, видишь, обложили! Да и не держит тут ничего. Ни жены, ни друзей...

– Ну, друзей-то у тебя...

– Эти собутыльники – друзья? Только и знают, жрать да пить за счет Есенина! А там у тебя я буду работать... работать...

– Ну что ж, попробуй. Приезжай! Я постараюсь помочь с жильем.

– Вставай, приехали, – глянул Есенин в оттаянное чьей-то ладонью пятнышко на окне.

Трамвай остановился на Пушкинской площади. Они вышли и, не оборачиваясь, пошли по Тверской. Когда трамвай тронулся, человек в кожанке легко выпрыгнул на ходу, ни на секунду не теряя их из виду.

Добежав до кафе «Домино», которое было совсем рядом с Пушкинской площадью, Есенин остановился, запыхавшись, закашлялся:

– Зайдем сюда!

– Мы же хотели в «Стойло Пегаса», – подошел Эрлих.

– Да ну его! Там сейчас Мариенгоф больше заправляет... Не хочу его видеть, не то настроение. Пошли!

В кафе, куда они вошли, было полно разношерстного люду. В одной половине богато одетые, сытые мужчины угощали девиц, подобранных на улице, и весело хохотали. Гремел цыганский оркестр. Бледные, кое-как одетые люди, куря папиросу за папиросой, приютились по углам, с завистью глядя на эту жирующую публику. Какой-то смертной тоской веяло от этого веселья в студеной зимний вечер. Пройдя мимо этого сброда в другую половину, Есенин остановился, приветствуемый узнавшими его завсегдатаями и поэтами, сидящими за отдельными столиками возле эстрады.

– Есенин! Есенин! – несло со всех сторон. – К нам садись! Давай, друг!

Среди гомона и дыма Есенин за одним столом разглядел поэтов Мандельштама, Пастернака, Шершеневича, Райзмана... Поэт Приблудный, встав во весь рост, рявкнул:

– Учитель! Bravo! Снизолел до нас, смертных! Прошу к нам!

Есенин сделал вид, что не узнал его или не заметил. Он прошел к столику с двумя девицами, сидевшими в одиночестве за бутылкой дешевого вина и громче всех выражавшими свой восторг. Есенин, благосклонно улыбаясь, царственно подал им руку, что привело девиц в экстаз, и небрежно, словно продолжая прерванный разговор, громко сказал, глядя по сторонам:

– Если я за целый день не напишу четырех строк хороших стихов, я спать не могу... потому что я поэт! А знаешь, почему я поэт, а Маяковский – так себе, непонятная персона? – хитро улыбнулся Есенин. И сам ответил: – У меня Родина есть. У меня Рязань. Я вышел оттуда и какой ни есть, а приду туда же. А у него – шиш! – Есенин сделал всем знакомый жест рукой. – Да, кажется, и шиша-то нет. Живут втроем: Лиля Брик, Ося и он... – Девицы на двусмысленный намек вульгарно захохотали. – Вот он и бродит без дорог, и тянуться ему некуда.

Официантка тем временем принесла несколько бутылок вина, бокалы и незамысловатую закуску. Есенин, щедро разлив всем вина, поднял бокал:

– Хочешь, добрый совет дам? Ищи Родину! Не найдешь – все псу под хвост пойдет. Нет поэта без Родины! – И, чокнувшись с девицами, выпил залпом.

Не веря своему счастью оказаться рядом за одним столиком с самим Есениным, девицы, раскрыв накрашенные рты, внимали каждому его слову, будто проповеди священника в церкви. Есенину было приятно. Он привык к восторгам и поклонению и любил его, особенно поклонение женщин, впрочем, как и их самих. Он не делал различия по социальному положению и одинаково любил, будь то проститутка или богемная, салонная девица. Есенин забыл про метель за окном, про «кожанку», преследовавшую его весь вечер. И хоть прокуренный воздух «Домино» затруднял дыхание, он не замечал этого. На душе Есенина стало светло и как-то торжественно, словно он был отныне посвящен в некую «кремлевскую тайну», к которой до этого ему не было доступа...

Он встал. Ему уже было мало внимания сидящих за столом Эрлиха с девицами. Есенин наклонился к одной из них и продекламировал:

Мне сейчас хочется очень!!!  
Из окошка Луну обоссать!!!

Девицы заплодировали.

– Не верите? Ей-богу, сделаю! Извините, я сейчас. – Он пошел между столиками в уборную. Проходя мимо Мандельштама, Есенин остановился и, наклонясь к уху улыбающегося поэта, громко, чтобы слышали сидящие рядом с ним остальные, произнес: – А вы, Осип Эмильевич, пишете пла-а-ахияе стихи... И дурацкие! – И, по-идиотски захохотав, ушел за портьеру.

Через некоторое время, возвращаясь из уборной, он опять наклонился и громко крикнул в ухо Мандельштаму:

– Осип, вы никудышный поэт! Вы плохо владеете формой! У вас глагольные рифмы. – И, прежде чем покрасневший от гнева Мандельштам собрался ему что-то ответить, Есенин снова возвратился к своему столику и на весь зал прокричал: – А если судить по большому счету, чьи стихи действительно прекрасны, так это стихи Мандельштама! Нельзя не восхищаться красотой его «Венецианской жизни», его «Ласточками» или «Сумерками свободы»! Я не переврал названий, Осип? – Есенин, обняв, поцеловал его. – Встань, Ося! Поклонись людям! – И первый зааплодировал ему.

– Ты не назвал еще «Пшеницу человеческую», – смущенно раскланиваясь, пробормотал Мандельштам.

– И «Пшеница человеческая», – крикнул Есенин, – чудо! И еще «Песнь о хлебе». Прекрасные слова! Слава Осипу! Поэт и Слово – все равно что утро, роща и птицы. Глуха роща без птиц. Поэт без Слова – улей без пчел. А Слово – история. Слово – философия, натура народа, – продолжал Есенин, вдохновенно торопясь поведать все, о чем он думал, чего не высказал тогда в Кремле Троцкому, о чем болела его душа. – Нет плохих народов! Нет народов неискренних, неталантливых! И ты, Осип, искренен искренностью своего народа, талантлив его талантом. Поэты-изменники – не поэты!

– Подождите, Сергей! Дайте мне сказать! – остановил Есенина тронутый до слез Мандельштам. – Я понимаю. Я понял, о чем хотел сказать поэт Сергей Есенин. Я сейчас прочту строчки из стихотворения... Мне кажется тоже, лучше и искреннее не скажешь, – и, подражая Есенину, рубя рукой воздух, прочел:

Но и тогда,  
Когда во всей планете  
Пройдет вражда племен,  
Исчезнет ложь и грусть, —  
Я буду воспевать  
Всем существом в поэте  
Шестую часть земли  
С названьем кратким «Русь».

Это его наивное подражание есенинской манере чтения, его искренность и особенно еврейское грассирующее «Р-р-русь...» привели в восторг публику. Все захохотали. Никогда Мандельштам не получал столько аплодисментов. Есенин обнял его и повел к своему столику. Дамы вскочили, приветствуя его.

Есенин налил всем вина.

– Давай за твой триумф, поэт Мандельштам! – Он выпил и, откинувшись на спинку стула, закурил свои любимые папиросы «Сафо», бросив коробку на стол.

Девушки, жеманничая, закурили тоже.

– Боже! Какой аромат! Сергей Александрович! – выдыхали они изо рта клубы дыма.

За одним из столиков компания поэтов пила вино под нехитрую закуску и наблюдала «братание» Есенина с Мандельштамом. Один из присутствующих, Алексей Крученых, по оценке Есенина, поэт «ерундовый», как человек трусливый и злобный, не переносил любого

успеха Есенина. И теперь лицо его исказила гримаса, которую с трудом можно было назвать улыбкой.

– Мандельштам лопух! Развесил уши! «Нет плохих народов!» Ишь ты! Да Есенин – волк в овечьей шкуре! Я лично слышал от Демьяна Бедного – ему Есенин звонил из милиции. «Дорогой товарищ, мы тут зашли в пивнушку, ну, конечно, выпили. Стал говорить о жидах. Вы же понимаете, дорогой товарищ Демьян, куда ни кинь – везде жида. И в литературе все жида. А тут какой-то тип и привязался. Вызвали милицию – и вот мы попали!» Демьян попросил Есенина передать трубку дежурному и заявил: «Поступайте с ними по закону! Я таким прохвостам не заступник!» – Крученых счастливо захихикал. – Ну, а дальше – суд! Жаль, меня там не было. Сандро! А ты-то был, Расскажи! Расскажи друзьям про этих героев. Как Есенин юлил... Расскажи...

– Да ну тебя на хер! – отмахнулся Кусиков.

– Чё, правда юлил? – недоверчиво спросил Приблудный.

– Слушай ты его, он наговорит. Ты что, Крученых не знаешь? Юлил... Он сидел как струна. Глаза горят. Я боялся, что сорвется, понесет всех. Потому что выступали многие против него, требовали пресечь зло в корне... Демьян Бедный, сука, как ты, Крученых, так же злорадствовал: «Антисемиты! Писателями еще называются... Вам место не в Доме печати, в тюрьме». Ну, Демьян, понятно, мстил Есенину за то, что он его Ефимом Лакеевичем обозвал в стихотворении. Но меня Мариенгоф поразил: с пеной у рта доказывал, что Есенин – больной человек, который не в состоянии отвечать за свои поступки... А? Ни хрена себе, защитил друга? – Сандро осуждающе покачал головой и, вспомнив что-то, неожиданно захохотал. – Лидка Сейфуллина выступила... как... как в лужу пернула: «Есенин, почему вы не сказали, что ругали не только евреев, но и татар, и грузин, и армян?» А Есенин вытаращил свои голубые глаза: «Бог с вами, Сейфуллина, да никого я не ругал». – Он так точно изобразил Есенина, но с грузинским акцентом, что все, кроме Крученых, засмеялись. – В итоге сошлись на том, что все участники скандала – и евреи, и Есенин – были пьяны, и в конце концов их оправдали. Слава богу – гора с плеч! – Он допил свой стакан, закурил.

Ждали хама, глупца непотребного,  
В спинжаке, с кулаками в арбуз, —  
Даль повыслала отрока вербного  
С голоском слаще девичьих бус.  
Он поведал про сумерки карие,  
Про стога, про отжиночный сноп.  
Зашипели газеты: «Татария!  
И Есенин – поэт-юдофоб!»

Это стихотворение Крученых прочел желчно, как свидетель обвинения на суде. Он торжествующе поглядел на недоумевающих приятелей:

– Это не мои стихи... Это Клюев! Вот! Клюев, божий человек, еще когда Серегу раскусил!

До сей поры молчавший писатель Андрей Соболев грохнул кулаком по столу.

– Что вы распаляетесь, Крученых! Шипите как змея... и жалите исподтишка. Я еврей! Скажу искренне: я – еврей-националист. Антисемита я чувствую за три версты! Есенин, с которым я дружу, близок для меня как брат родной!

– Таки брат? – всплеснул руками Крученых. – Скажите, как похож! – добавил он с издевкой.

– Да! – опять стукнул Соболев кулаком по столу. – В душе Есенина нет ненависти ни к одному народу! А вы, батенька, мразь! – Он плеснул вином в лицо Крученых.

– Ах ты гад! Морда! Да я тебя! – Крученых схватил со стола бутылку, но его руку перехватил Приблудный, сунув ему под нос свой кулачище:

– А это видел? Враз зашибу! Сядь!

Крученых сел и, достав носовой платок, стал утираться.

– Чего тебе Есенин, соли на хрен насыпал? Чего ты на него? Андрей прав! Сам ты антисемит! А если ты такой храбрый, – Приблудный хитро сощурился, – пойди к Есенину, прочти эти вирши.

– Брось, Иван! Не надо! – встревожился Кусиков. – Будет скандал. Драка. Есенину это нужно, Ваня, как моей жопе гвоздь в диване!

– Ну что же ты, «гвоздь в диване», – продолжал подначивать Алексея Крученых Приблудный, – забздел?!

– Ой! Испугался! Как же... Мы тоже драться умеем.

– Иди!

– И пойду. – Крученых встал и решительно пошел к столику Есенина.

– Здорово, Сергей! – протянул Есенину руку. – Привет, Вольф! Осип, привет! – поздоровался он со всеми. – Серега, мы вот тут заспорили... – он кивнул на Приблудного, – послание «Евангелист» Демьяну ты написал?

– Кто это сказал? – насторожился Есенин.

– Да все говорят. Больше некому. И по сути, и по форме твое.

– А если и мое, хотя я этого не утверждаю, то что с того?

– Да ничего! Послушать бы, как ты его читаешь... хотя... Хотя теперь, после «суда», наверное, побоишься? – Последние слова Крученых произнес громко, скорее обращаясь к окружающим, чем к Есенину.

Есенин улыбнулся, но глаза его холодно сверкнули, как голубые льдинки. Он понимал, что Крученых его провоцирует. «Гад! Уж очень удобный момент выбрал!» А Крученых еще громче, на все кафе:

– Прочтите, Сергей Александрович, своего «Евангелиста». Просим!

– Не надо, Сергей. Ну их! Ты же видишь, он провокатор, – наклонившись к Есенину, горячо прошептал Мандельштам.

Но уже не только дамы, сидящие с ними за столиком, но и другие посетители стали аплодировать:

– Стихов, Есенин! Стихов, стихов! – кричали они. – Есенин испугался? Не верим! Не может быть!

– Читай, учитель! Читай, мать их! – рявкнул пьяный Приблудный.

Есенин налил в свой стакан вина, встал, залпом выпил. Выходя из-за столика, благодарно пожал плечо Мандельштаму:

– Спасибо, Ося! Но отступать? Перед этим?.. – Он вышел на эстраду, постоял, дожидаясь, пока все в один голос не стали требовать: «Сти-хов! Сти-хов!» Губы Есенина дрогнули, и все лицо озарилось обаятельной улыбкой. Он поднял руку. Зал замер.

– Только тихо! Не чавкать! – Кто-то засмеялся, но лицо Есенина стало серьезным. – Сейчас я прочту стихотворение, которое народная молва приписывает мне... Ну что ж! Как Пушкин сказал: «Если честно, от хороших стихов сил нет отказаться...» Ну, в общем, слушайте! – Какие-то доли минуты он помолчал. Лицо его побледнело, и только глаза полыхали весенней небесной синью. Поэт вскинул голову и рубанул рукой воздух:

Я часто думаю, за что его казнили,  
За что он жертвовал своею головой?  
За то ль, что, враг суббот, он против всякой гнили  
Отважно поднял голос свой?

За то ли, что в стране проконсула Пилата,  
Где культом кесаря полны и свет, и тень,  
Он с кучкой рыбаков из бедных деревень  
За кесарем признал лишь силу злата?  
За то ли, что, себя на части разорвав,  
Он к горлу каждого был милосерд и чуток,  
И всех благословлял, мучительно любя, —  
И маленьких детей, и грязных проституток.

Вся разношерстная публика замерла, внимая чуть хрипловатому, но певучему голосу Есенина. Многие из присутствующих уже слышали, а некоторые из поэтов уже и читали это послание «Евангелисту» Демьяну, а потому одни со страхом, другие со злорадством глядели на этот откровенный вызов с эстрады.

Не знаю я, Демьян, в Евангелие твоём  
Я не нашел правдивого ответа.  
В нём много бойких слов,  
Ох, как их много в нём!  
Ни слова нет, достойного поэта!  
Я не из тех, кто признает попов,  
Кто безотчетно верит в Бога,  
Кто лоб свой расшибить готов,  
Молясь у каждого церковного порога.  
Не признаю религию раба,  
Покорного от века и до века,  
И вера у меня в чудесное слаба, —  
Я верю в знание и силу человека.

Есенин читал, а людям казалось, что со сцены надвигается гроза. Как летом, в июле или августе, где-то далеко над полем появилось облачко. Оно на глазах потемнело и уж надвигается тучей, охватившей весь горизонт. Черное небо перечеркивают вспышки молний, но грома еще не слышно. Безотчетный страх охватывает тебя всего перед надвигающейся стихией. Хочется бежать, но цепенеют ноги. Так и публика в зале, замороженная предельной искренностью стихов, идущих от сердца, оцепенела перед есенинским бесстрашием. А он словно бурю обрушил в тишину:

Я верю, что, стремясь по нужному пути,  
Здесь, на Земле, не расставаясь с телом,  
Не мы, так кто-нибудь ведь должен же дойти  
Воистину к божественным пределам.  
И все-таки, когда я в «Правде» прочитал  
Неправду о Христе блудливого Демьяна,  
Мне стыдно стало так, как будто я попал  
В блевотину, изверженную спьяна.  
Пусть Будда, Моисей, Конфуций и Христос —  
Далекий миф, — мы это понимаем, —  
Но все-таки нельзя ж, как годовалый пес,  
На все и вся захлебываться лаем.

Молодые поэты, пришедшие во главе с Пастернаком, не найдя места, расположились вдоль стены, кто-то присел на подоконник. Они с восторгом глядели на эстраду. Пастернак, много раз слышавший чтение Есенина перед многочисленной аудиторией, всякий раз испытывал жгучую зависть к нему, к этому «крестьянину в цилиндре», к его способности захватывать, завораживать людей – не только «половодьем чувств» своих стихов, но самим чтением. Он ревниво покосился на разинутые рты молодых поэтов и, увидев свободное место за столиком Кусикова и Соболя, подсел к ним, пытаясь обратить на себя внимание, но те лишь досадливо отмахнулись:

– Тихо ты! Не мешай!

А со сцены хлестал ливень. Теплые, очищающие, освежающие капли, в сущности, обыкновенных, простых слов западали в души слушателей, пробуждая в них ростки чего-то большого и сокровенного. Женщины плакали. Мужчины непрерывно курили.

Христос, сын плотника, когда-то был казнен.  
Пусть это миф, но все ж когда прохожий  
Спросил его: «Кто ты?» – ему ответил он:  
«Сын человеческий», – он не сказал – «Сын Божий».  
Пусть миф Христос, как мифом был Сократ,  
И не было его в стране Пилата.  
Так что ж из этого? Не надобно подряд  
Плевать на все, что в человеке свято!  
Ты испытал, Демьян, всего один арест,  
А все скулишь: «Ах, крест мне выпал лютой!»  
А что, когда б тебе голгофский дали крест  
И чашу с едкой цикутой?

В зале послышался одобрительный гул голосов, но Есенин поднял руку, и все враз смолкли. Он молниеносно оглядел толпу, и этого ему было достаточно, чтобы понять: она взята в полон целиком, безраздельно. И уже не нужен «голосовой набат». Тихой хрипотцой он продолжал:

Хватило б у тебя величья до конца  
В последний час по их примеру тоже  
Благословить весь мир под тернием венца  
И о бессмертии учить на смертном ложе?

И все поняли, что не к Демьяну Бедному, хулителю Христа, обратился Есенин, а к ним, всем вместе и к каждому в отдельности. Многие виновато опустили головы. А Есенин, словно великодушно «отпускающе» грехи, громогласно и гневно припечатал:

Нет, ты, Демьян, Христа не оскорбил,  
Ты не задел его своим пером нимало.  
Разбойник был, Иуда был,  
Тебя лишь только не хватало.

Ты сгустки крови у креста  
Копнул ноздрей, как толстый боров,  
Ты только хрюкнул на Христа,  
Ефим Лакеевич Придворов.



– Так его, Учитель! – не выдержав, гаркнул Приблудный.

Но Есенин на него даже не взглянул. Стихи и чтение захватили его. Он только встряхнул кудрявой головой и показал толпе кулак.

Но ты свершил двойной тяжелый грех:  
Своим дешевым балаганным вздором  
Ты оскорбил поэтов вольный цех  
И малый свой талант покрыл позором.

Но тут уже весь присутствующий «вольный цех» поэтов в знак согласия с Есениным разразился шквалом аплодисментов. Есенин озорно сверкнул голубыми глазами.

– Остыньте! – поднял он обе руки и, когда все утихло, звонко и весело закончил:

Ведь там, за рубежом, прочтя твои стихи,  
Небось злорадствуют кликуши:  
«Еще тарелочку Демьяновой ухи,  
Соседушка, мой свет, пожалуйста, откушай».  
А русский мужичок, читая «Бедноту»,  
Где образцовый блуд печатался дуплетом,  
Еще отчаянней потянется к Христу  
И на хер вас пошлет при этом!

Есенин замолк и, по-детски хлопая ресницами, улыбнулся. Рев восторга обрушился на него.

– Браво!.. Браво! – орала публика и аплодировала так, что звенели стекла в окнах кафе, а прохожие на Тверской останавливались и заглядывали в заиндевшие окна, любопытствуя, что происходит.

А в зале стали требовать от Есенина еще стихов.

– Даешь «Москву кабацкую», – раздавались пьяные голоса.

– Знаете, почему вам моя «Москва кабацкая» нравится?! – крикнул Есенин.

В ответ визг и аплодисменты.

– Потому что вы сами в душе хулиганье и бандиты! Оттого и нравится вам похабщина в моих стихах, потому и считаете, что я пишу про себя, а не про вас!

В ответ засвистели, заулюлюкали:

– Хулиган! Есенин! Браво, Есенин!

Какой-то господин, рукавом утирая пьяные слезы, пошатываясь, подобрался к эстраде, протягивая бутылку со стаканом:

– Выпьем, Серега! За Христа, за кровь Христову.

Приблудный, ухватив пьяного за воротник, бесцеремонно отшвырнул его.

– Прочь! Утри слюни! – Он протянул руку, помогая Есенину спрыгнуть с эстрады. Отталкивая особенно назойливых почитателей, провел его за столик.

Девушки с визгом бросились целовать Есенина. Мандельштам сидел и радостно улыбался, размышляя над услышанным. «Талантище, истинное дарование! За Есениным не угнаться ни ему, Мандельштаму, ни Пастернаку, – глянул он в его сторону, – да, пожалуй, и Маяковскому».

Эрлих тоже бесповоротно понял, что Есенин оставил позади себя всех их: имажинистов, футуристов, кубистов и прочих «истов» – искателей формы, а не смысла и содержа-

ния. Но зависть маленького дарования и чрезмерное честолюбие не позволяли радоваться за Есенина, как мог это делать Мандельштам.

Когда все снова уселись за столиком, разлили вино, Приблудный театрально встал на колени перед Есениным, преклонив голову:

– Учитель, перед именем твоим позволь смиренно преклонить колени.

Есенин, довольный, рассмеялся:

– Эрлих! А ты можешь сказать про себя, что ты мой ученик?

– Только с глазу на глаз могу.

– А при всех, как Иван?

Эрлих не ответил.

– Ну да ладно! – поднял стакан Есенин. – Давайте за Русь!

– За Русь, до дна! – поддержал тост Мандельштам.

Приблудный выпил и тут же налил себе еще.

– За Русь, Сергей, я должен сразу еще выпить. За Русь! – Он залпом выпил и, поперхнувшись, отчаянно закашлялся.

– Талантливый парень! А? Сергей? – засмеялся Мандельштам.

– Талантливый, сволочь, – улынулся Есенин. – Перешел на полное мое иждивение, хамству его нет предела... Ты понимаешь, Иван, что ты – ничто! – постучал он Приблудного кулаком по спине, помогая откашляться.

– Что ты списал у меня, ну хорошо, а дальше? Дальше нужно свое показать, свое дать. А где оно у тебя? Где твоя работа? Ты же не работаешь, Иван!

– Прости, Сергей! – Приблудный прокашлялся и высморкался в платок, вытерев кулаком выступившие слезы. – Прости, я увез твои башмаки.

– Да хрен с ними, хотя они были самые лучшие... Не простился почему?!

Приблудный виновато опустил голову: «Потому что получил деньги, а при деньгах я дрянной человек».

– Имя мое треплешь, сволочь! – вскипел Есенин.

– Сволочь! – согласился Приблудный. – Я... я назанимал денег, под свою бедность сшил себе вот этот костюм, чтобы не позорить тебя своим видом.

Есенин беззвучно засмеялся:

– Ладно!.. Костюм что надо! А? Осип? Но если я пойму, что, кроме подражательства, как стихотворец ты ни на что не способен, – тогда пошел к чертям, нечего тогда с тобой возиться, Иван!

Приблудный покорно встал:

– Раз так, я пошел работать. Учитель. Только дай денег... ты же получил в Госиздате, знаю.

– Откуда знаешь?

– Все знают! – ухмыльнулся Иван.

– Все?! – удивился Есенин. – Ну и ну!.. – Он достал бумажник, вынул деньги. – Пропьешь, опять кланчить будешь.

– Учитель, ты тоже пьешь, – начал было возражать Приблудный, но Есенин так зыркнул на него, что тот осекся.

– Ду-у-рак! Я кончаю тем, с чего ты начинаешь! Уловил разницу? Удались! – Он положил бумажки на край стола. Приблудный мгновенно сгреб деньги своей лапищей, зажал их в кулаке:

– Учитель! Ты! Ты!.. Ты добрый! И... веселый! – И, потрясая кулаком с деньгами, отошел к своей компании.

Есенин потянулся к бутылке и снова стал наливать всем. Мандельштам прикрыл ладонью свой стакан:

– Хаим все! – пошутил он. – Мне пора домой. – Он протянул руку: – Спасибо тебе, Сергей! Береги себя!.. Помни: ворон кружит!..

Есенин встал, обнял Мандельштама:

– Помню, Ося!.. Прощай!

Он сел, выпил несколько глотков, грустно глядя ему вслед.

– Я, пожалуй, тоже пойду, – неожиданно подхватился Эрлих.

– Ты чего вдруг? – нахмурился Есенин.

– Да так. Я же Мариенгофу обещал в «Стойло Пегаса» зайти...

– А!.. Ну-ну! – криво усмехнулся Есенин. Хмель ударил ему в голову. – Ты считаешь, что корабль уже тонет... Ну, бегите... бегите.

Эрлих зло сжал зубы, ощерился в улыбке. Хотел что-то ответить, но, махнув рукой, стал пробираться к выходу.

Есенин поглядел на притихших девиц, улыбнулся: «Ну вот, опять один». Еще никогда и нигде не чувствовал он такого одиночества, как теперь, здесь, в кафе, полном народу. Проститутка, словно почувствовав его настроение, робко положила свою ладонь ему на руку:

– Сергей... Александрович! Вы правда добрый и... веселый!

– Не я веселый, а горе мое весело!.. – кивнул головой Есенин. – Давайте помянем друга моего... Поэт Шириевец – слышали? – Девы отрицательно помотали головой. – Хороший поэт был... и друг... тоже настоящий... не как эти все! – неопределенно махнул он рукой в сторону окружающих. – Представляете... когда его хоронили, рядом на березе, у могил, соловей запел... Это... это лучшее надгробное слово над могилой русского поэта... Понимаете?.. Было пять друзей... один ушел... Лучшие уходят навсегда и безвозвратно. – Из глаз Есенина полились слезы, но он не стыдился их. Глядя на него, зашмыгали носами девицы.

Есенин выпил вина и хрипло вполголоса запел:

Не жалею, не зову, не плачу,  
Все пройдет, как с белых яблонь дым.  
Увяданья золотом охваченный...

Девы робко подхватили:

Я не буду больше молодым.

Есенин повернулся к компании, где сидел Кусиков.

– Сандро! Сандро! – крикнул он. – Слышь? Гитара с тобой? Дай гитару!

Кусиков обернулся:

– Сергей! Ты чего? Один?! Иди к нам!!

Есенин поглядел на девиц:

– Пойдем, что ли? Там кавалеров много!

– С вами хоть к черту на рога! – обрадовались девицы.

– Сергей Александрович! – понизив голос, сказала та, что пожалела его. – Если захотите, то у меня и комната есть чистая, я тут неподалеку живу... Ну в общем... вы меня понимаете?

– Понимаю! Там видно будет! Как зовут тебя?

– Меня Екатерина, а ее Верка!

– Вот, знакомьтесь: это Екатерина, а это Вероника! – представил Есенин девиц, подходя к компании Кусикова. – А это... это поэты... Они сами назовутся... Да у вас и сесть-то негде...

– Это мы мигом, – вскочил Приблудный. – Боря, – ткнул он Пастернака, – помоги!

Но тот только презрительно глянул на девиц.

Кусиков усадил Есенина на свое место, а сам пошел вслед за Приблудным, который уже сграбастал своими ручищами столик Есенина и перетащил к своему. Когда Сандро принес еще три стула и все расселись, Приблудный, усадив рядом с собой одну из девиц, представился:

– Поэт Приблудный, будем знакомы!

– Вера, – жеманно подала та руку. – Очень приятно!

– А это вот писатель – Андре Бобер...

– Соболев! Андрей Соболев! – засмеявшись, поправил Соболев.

– Это Сандро Кусиков. Это он написал песню: «Живет моя «отрава» в высоком терему»... А этого вы уже знаете – Сергей Есенин, наш великий русский поэт! Мой ученик! Все грохнули. Есенин хохотал до слез...

– А что? Я что-то не так сказал? – прикидывался дурачком Приблудный.

– Ну сволочь!.. Ну, Иван! Ты скоро будешь всем говорить, что не ты воевал у Буденного, а он у тебя в ординарцах сапоги чистил.

– Как можно. Мы вместе беляков рубали!

Все опять засмеялись. Пастернак отодвинулся от стола, заложил ногу на ногу, всем своим видом стараясь показать, что он выше этого кондового юмора. Держа за доньшко на вытянутых пальцах стакан с вином на уровне глаз, он взбалтывал его и, сделав маленький глоток, вглядывался в стакан. Свет от лампочки, проходя сквозь вино, делал его кроваво-красным.

С первых дней знакомства с Есениным Пастернак проявлял к нему особый интерес. При каждой встрече он ожидал, что Есенин непременно оглушит и его, и других молодых поэтов чем-нибудь неожиданным, вызывающим сложное чувство восторга вперемешку с завистью, удивлением перед огромным талантом Есенина и в то же время глубокую досаду. Хочешь не хочешь, а ведь все они между собой соперники на поэтическом Парнасе.

– Есенин! – заговорил Пастернак, когда все отсмеялись. – Я слышал, как вы тут безапелляционно даете оценки творчеству всего поэтического братства. – Он оглянулся на пришедших с ним молодых поэтов, которые примостились кое-как неподалеку на подоконниках.

– Вон Безыменский, Уткин, Алтаузен, да и другая поэтическая молодежь, мне кажется, давно хотят услышать, что вы думаете по их поводу?

– Перестаньте, Борис! Не заводитесь! Вы же знаете его отношение! – вскинулись Соболев и Кусиков.

– Я-то знаю! И они знают! – не унимался Пастернак. – Но не за глаза, а здесь, при всех! Вслух, так сказать!

Есенин медленно встал. Кусиков вцепился ему в рукав, пытаясь остановить друга: «Не надо, Сергей!» – но Есенин резко выдернул руку.

– Здесь! При всех! И вслух! Я скажу, – начал говорить Есенин, еле сдерживаясь от ярости. – Ваши стихи, Пастернак, – вы ведь про себя хотите услышать, что я думаю? – так вот, я ваши стихи на дух не переношу! Вся ваша поэзия нужна только очень ограниченному кружку читателей... потому что ваши стихи... косноязычны. Кос-но-я-зычны! Их никто не понимает. Народ вас не признает никогда – это я не иронизирую и не шучу!

Пастернак допил свое вино и аккуратно поставил стакан на столик.

– Если бы вы, Сергей Александрович, были более образованны, то вы бы знали, как опасно играть словом «народ». Был такой писатель Кукольник, о котором, я убежден, вы и не слышали. Так вот, ему тоже мнилось, что он знаменитость, признанная народом. А оказалось: «Пу-у-у-к», – сделал он звук губами. Многие засмеялись, а молодые поэты, внимательно следившие за их пикировкой, заплодировали.

– Не бойсь, Боря! О Кукольнике я знаю не меньше тебя. Но я знаю также и то, что наши потомки будут говорить: «Пастернак? Поэт? Не знаем, а вот траву пастернак знаем и любим». Это касается и вас, и вашей поэзии.

– Bravo, Учитель! – заржал Приблудный. – Трава ты, Пастернак. Полынь горькая!

– А что касается молодых советских талантов, упомянутых вами, – Есенин поглядел на придвинувшихся поближе молодых поэтов, – этих, что ли? Безыменский, Уткин... кто там еще?.. Они гвардия бездарностей, которая копытит на ниве русской словесности и потрясает при каждом удобном случае своим еврейством...

Кусиков опять предостерегающе дернул Есенина за рукав, но тот досадливо дернулся и продолжил:

– Своим... еврейским происхождением. Это банда! Другого слова для них нет. Спаянная и наглая, как в человеческом, так и в литературном поведении... Так и передайте им! Вон они окружили! А ты!.. Ты! Пастернак!!! – Есенин сжал кулаки. – Так Пастернаком и проживешь!

Последние слова показались Пастернаку обиднее всего. Он тоже вскочил.

– А ты не бронзовей!.. Сергей... Александрович, потому что ты не Александр Сергеевич! – крикнул он визгливо и кинул в Есенина скомканный носовой платок, которым вытирал свои вспотевшие ладони.

Этот нелепый театральный жест развеселил Есенина.

– Я так понимаю, ты меня на дуэль вызываешь, Пастернак? – сказал он, оглядывая всех, как бы призывая в свидетели. – Хорошо! Дуэль – это красиво! Я принимаю вызов! Хотя я не Александр Сергеевич.

– Какая дуэль? Ты чего? – растерялся Пастернак.

– Давай на кулаках... Выйдем вон во двор и честно... один на один. Дуэль! Что, обосрался?

Как всегда и везде, толпа, насытившись хлебом, требует зрелищ. Так и теперь, в кафе, публика, с любопытством наблюдавшая скандал, стала подначивать:

– Ура! Дуэль! Дуэль! Пушкин и Дантес! На кулаках! Гениально! Bravo. Есенин – Пушкин, Пастернак – Дантес. Трус! Трус! Трус!

– Хорошо! Пошли! – согласился Пастернак. – Ты думаешь, я драться не умею, – храбрился он, пробираясь за Есениным к черному ходу во двор, – но надо и секундантов взять, раз дуэль, а не драка!

– А на хрена нам свидетели? – остановился Есенин. – Хочешь, чтобы завтра в газетах напечатали: «Есенин в пьяном виде избил Пастернака»? Ладно, черт с тобой, бери секундантов... только двоих.

– Что же вы Есенина одного отпускаете? – прошептала на ухо Приблудному одна из девиц.

– Я с тобой, Учитель! – спохватился Приблудный, но Есенин остановил его:

– Спасибо! Не надо, Иван! Я один! Да мне не привыкать. – И, сдвинув шапку на затылок, скрылся в коридоре.

– Если что, я здесь! – крикнул Приблудный ему вслед и, увидев, как человек пять припешников Пастернака направились во двор, преградил им дорогу.

– Куда, курвы! Учитель сказал: только два секунданта... Значит, два! А остальные – вали! А то я в гражданскую с Буденным воевал, враз башки поотшибаю!..

Двое молодых поэтов осторожно протиснулись мимо него, остальные ретировались.

– Сандро! Ты последи, чтобы никто туда не совался! А я пойду с улицы, гляну на всякий случай. – Он накинул шинель и, допив свой стакан, двинулся к выходу.

Взяв гитару, Кусиков сел на стул, загородив спиной коридор, куда ушли дуэлянты, и, нервно перебирая струны, что-то запел. Девицы подсели к нему.

– Вы не бойтесь, товарищ Сандро. Мы вам поможем, если что. Мы за Есенина всем глаза выцарапаем!

## Глава 6

### Дуэль

Двор, куда выходил черный ход кафе «Домино», был весь завален снегом. Бушевавшая еще час назад метель утихла. Небо очистилось, тусклая лампочка едва освещала небольшое пространство у подъезда.

Есенин вышел, с трудом распахнув дверь, и остановился, оглядываясь по сторонам.

Постояв, прислушиваясь какое-то мгновение, он решительно направился к ближайшем сугробу и со всего маху упал в него навзничь.

«Так, наверное, и Пушкин у Черной речки», – подумалось ему.

Есенин лежал на снежной перине, глядя на небо, окрашенное багрянцем заходящего солнца. В памяти всплыли стихи другого великого дуэлянта:

Над Москвой великой, златоглавою,  
Над стеной кремлевской белокаменной...  
Заря алая подымается...  
Уж зачем ты, алая заря, просыпалась?  
На какой ты радости разыгралась?

– Что ты там бормочешь, лапотник рязанский? – услышал Есенин. Он поглядел в сторону подъезда. В дверях стоял Пастернак с двумя секундантами. – Богу молишься? – съехидничал Пастернак.

Есенин встал и, шапкой отряхивая с себя снег, направился им навстречу:

Как сходились, собирались  
Удалые бойцы московские...  
...на кулачный бой.  
Разгуляться для праздника, потешиться, —

звонко читал Есенин лермонтовские строчки, расшвыривая ногами снег в разные стороны.

– Чё встали, господа? Секунданты херовы! Это ваше дело – место для дуэли готовить!

Молодые поэты бросились так же, как Есенин, ногами расчищать середину двора. Когда площадка была готова, Безыменский и Уткин, те, о ком так нелестно отозвался Есенин, встали по сторонам.

– И ты, конечно, Калашников, «молодой купец, удалой боец»? – подхватил Пастернак лермонтовскую тему, все еще не веря в серьезность «дуэли», надеясь, что здесь, на морозе, Есенин остынет и все обратит в шутку.

Но Есенин снял пальто, шапку, бросил их рядом в сугроб и вышел в центр утоптанной площадки. Поглядев на секундантов, которые окружили его справа и слева, он не торопясь вынул пачку «Сафо» и, закулив, вызывающе выпустил в сторону противника струю дыма, презрительно, через зубы, сплюнул.

– Что ждем, Кирибеевич? – спросил Есенин, нарочно грассируя.

Пастернак снял пальто, отдал его услужливо подскочившему Безыменскому и нерешительно шагнул к Есенину.

– Как драться будем, Степан свет Парамонович? Seriously? До крови? Так и быть, обещаю для праздника. Отпущу живого с покаянием! – храбрился он.

Сделав несколько приседаний и помахав руками, он стал скакать вокруг Есенина, как боксер на ринге. А Есенин стоял, попыхивая зажатой в зубах папиросой, широко расставив ноги и засунув руки в карманы брюк и только, набычившись, следил за Пастернаком и секундантами, словно предчувствуя, что бой будет не «один на один».

– Не шутки шутить, не блядей смешить, – кивнул он на секундантов. – К тебе я вышел теперь, бусурманский сын. Вышел я на страшный бой, на последний бой.

– Хватит лирики, Есенин! – озлобился Безыменский. – Оставь свои стишата проституткам. Давайте уже деритесь!

– Дай ему, Борис! – поддержал Уткин товарища. – Хватит с ним цацкаться, а то он опять свою дохлую лирику начнет...

– Это Лермонтов, козлы! Бездарные! Только свои стихи знаете!.. Ну! Ну! Бей меня в лицо! – шагнул Есенин к отпрянувшему Пастернаку. Он изжевал потухшую папиросу, смачно плюнул ее в лицо противника. Пастернак вытер лицо рукавом и с криком: «Сволочь!» вцепился в кудрявую есенинскую голову. Наклонив его, он стал остервенело коленом бить Есенина в лицо.

– На тебе! На! Ты просил в лицо? Получи! Сволочь! Деревня! На! На! Вот тебе! Вот тебе, хамло!!!

Видя такое преимущество, секунданты ликовали.

– Так его. Борис! Так! С хамом иначе нельзя! – вопил Уткин.

– Молодец, Боря! Знай наших! Здорово! Дай ему за нас! – вторил Безыменский, явно желая поучаствовать в драке.

Пастернак остановился, держа Есенина за волосы, всем туловищем нависнув над ним.

– Ну что, хватит? Или еще хочешь, удалой боец?

– «Чему суждено, то и сбудется, постою за правду до последнева!» – ответил Есенин лермонтовскими строчками и сплюнул кровь с разбитой губы.

Пастернак опять хотел ударить его коленом в лицо, но Есенин успел перехватить его ногу одной рукой. Изловчился он, приготовился – и неожиданно схватил Пастернака за яйца.

– Ой! Ой! Мой бог! – заверещал Пастернак. – Больно! Пусти, Есенин! Сволочь! Пусти! Ой, все, больше не буду! Ой, мой бог! Помогите, он мне их раздавит! – блажил Пастернак, безуспешно пытаясь вырваться.

Оба «секунданта» набросились на Есенина, начали пинать его, без разбору нанося удары.

Есенин яростно отбивался ногами, продолжая цепко удерживать противника за причинное место. Никто не заметил в пылу схватки, как в подворотне появился преследователь в кожанке. Понаблюдав за дракой, он достал кастет и, оглянувшись по сторонам, хотел ударить Есенина, но в это время хлопнула дверь и во двор вбежала Бениславская, а с ней сестра Есенина Катя с Наседкиным и Приблудный.

– Сергей! – отчаянно закричала Бениславская. – Прекратите сейчас же!

Она отважно кинулась к дерущимся и, подпрыгнув, повисла сзади на Безыменском. Тот, не ожидавший такого нападения, поскользнулся и упал. Наседкин повалил Уткина, ловко сделав ему подножку.

– Сережа, родной, что это! Почему драка? – теребила Катя брата за плечи.

Есенин разжал кулак, и Пастернак, упав на колени и скрючившись от боли, ткнулся в снег.

– Прекратить! Что за драка?! – закричал чекист, незаметно спрятав кастет в карман.

– Это не драка, это дуэль! – икнув, восторженно пробасил Приблудный.

– Какая дуэль? Охренел, что ли? – возмутился Наседкин.

– Я же вам сказал – самая настоящая!.. На кулаках. Есенин сам вызвал!.. – веселился Приблудный.



– Все, предъявите документы! – грозно потребовал чекист.

– Я секретарь ВЧК Бениславская, – подала Галя свое удостоверение. – А этот, которого эти негодяи избивали, знаменитый советский поэт Сергей Есенин.

– А я его сестра, Екатерина Есенина, – добавила Катя, помогая Наседкину поднять Есенина. – А это мой муж, поэт Василий Наседкин. Сереженька, боже мой, за что они тебя?! – стала она отряхивать брата и стирать с его лица кровь.

– Ну, я им дал!.. – улыбнулся Есенин разбитыми губами. Он взял пригоршню снега, вытер им лицо. Снова зачерпнул и, положив в рот, стал жевать и выплевывать окровавленную кашицу. – Ну, я им дал! – снова сказал он.

– Понятно! Пьяная драка... – Чекист вернул удостоверение Бениславской. – Чего не поделили, гражданин Есенин?

– Россию!.. Россию не поделили! – сказал серьезно Есенин, пытаясь попасть в рукав пальто, которое Наседкин с Галей заботливо пытались на него надеть.

– А вы? – обратился чекист к Пастернаку и его секундантам. – Не стыдно? Трое на одного! Хорошо, я случайно сюда заглянул... Могло бы и убийством все кончиться... в пьяной драке...

– Он сам виноват! Он первый начал! Вот у меня секунда... то есть свидетели... молодые поэты... Уткин и Безыменский, – стал горячо оправдываться Пастернак, – а я поэт Пастернак...

– Не слыхал про такого, – оборвал его чекист. – Есенина читал, «Исповедь хулигана».

Есенин неожиданно захохотал, да так весело, заразительно, что все присутствующие невольно заулыбались, сами еще не понимая чему.

– Пастернак, поэт ты, слов нету, большой. А он у тебя, – Есенин шлепнул себя по ширинке, – он у тебя, ей-богу, такой маленький... Я слыхал, что вам обрезают, но чтобы так... Еле ухватил!

Тут уж заржали все, даже секунданты Пастернака.

– Сволочь! – взвизгнул Пастернак и снова было кинулся на Есенина, но Иван Приблудный, ржавший во все горло, преградил ему дорогу.

– Это видал? – сунул он под нос Пастернаку свой кулачище. – Так огорчу тебя, Боря, вместе с твоими... сикунантами... Ты меня знаешь... Я у Буденного... всю войну башки белякам рубил...

– Прекратить! – крикнул чекист, доставая наган. – Всем стоять! Товарищ Бениславская, я уведу этих троих... а то опять начнется... А вы товарища Есенина.

– Спасибо, товарищ! Все будет в порядке.

– Пройдемте, граждане поэты... малые и большие... А ну марш отсюда!..

Безыменского с Уткиным как ветром сдуло. Стараясь не уронить свое достоинство, поспешая не торопясь, вышел через подворотню и Пастернак.

– А вы, товарищ Есенин, домой! Домой, иначе...

– Да! Да! Мы сейчас! – встрепенулась Катя. – Вася! Поймай извозчика.

Наседкин побежал на улицу, а за ним, козырнув всем на прощание, скрылся чекист.

– Зря тебя послушал, Учитель... надо было с тобой идти, – оглядывая место «дуэли», сказал Приблудный. – Он видишь какой... Пастернак херов... Ты что, ему яйца раздавил, а, Учитель? – Приблудный снова заржал.

– А что мне оставалось? Он мне в волосы вцепился и коленом в лицо бил, сука.

– Извозчика я поймал, он там, у ворот, – вбежал Наседкин. – Сергей, ты сможешь идти?

– А то! – Есенин пошатнулся и чуть не упал. Приблудный легко подхватил его на руки.

– Учитель! Я тебя на руках донесу... куда хочешь. Хошь на Олимп!

– Не надо на Олимп, Ваня... неси на улицу, в пролетку, – командовала Галя. – Вася, ты Приблудного придержи! А то он тоже пьяный, чего доброго упадет...

Выйдя из подворотни на Тверскую, кое-как погрузились в пролетку.

– Пожалуйста! Тут рядом: Брюсовский переулок, дом четыре, – назвала адрес Бениславская.

– А сколько дадите? Хоша и близко, да вас вон сколько... – заупрямился извозчик.

– Этого хватит? – сунул Наседкин извозчику смятую бумажку.

Извозчик снял шапку и, засунув деньги за подкладку, снова нахлобучил ее по самые уши.

– Это хватит!.. Спаси Христос, господа-товарищи! – Он щелкнул кнутом. – Нн-нооо! Милая! Нн-н-нооо!

Пролетка тронулась и не спеша покатила по мостовой.

Когда компания отъехала на большое расстояние, из-за угла вышел чекист, проводил долгим ненавидящим взглядом уехавшего Есенина, сплюнул и, надвинув фуражку на глаза, двинулся следом, бормоча: «Брюсовский переулок, дом четыре... Брюсовский переулок, дом четыре...»

Сидя на руках у Приблудного, Есенин задремал, уткнувшись ему в плечо. Все молчали, каждый по-своему переживая увиденную драку. Неожиданно извозчик, оглянувшись через плечо, спросил:

– А это кто... избитый-то? Лицо будто знакомое. Может, подвозил когда?..

– Это гениальный поэт – Сергей Есенин, отец! – пробасил Приблудный, бережно, как ребенка, укутывая его полкой своей шинели.

Услышав свое имя, Есенин очнулся и, обведя всех мутным взглядом, остановился на сестре.

– Катька! Это правда?

– Что, Сергей?

– Васька, – кивнул он на Наседкина, – твой муж?

– Да, Сережа. Мы решили пожениться вчера.

– Мы любим друг друга, Сергей! – пришел ей на помощь Василий.

Но Есенин даже не взглянул на него.

– Дура! Нашла счастье! Ты слыхал, Иван? – ткнул он кулаком Приблудного.

– Любовь зла, полюбишь и козла... – хмыкнул Приблудный.

– Учтите, помогать не буду!.. Живите как хотите! – стал заводиться Есенин.

– Потом, Сережа! Потом! Сейчас не время и не место! Поговорим завтра утром, когда протрезвеешь! – строго сказала Галя и тут же пожалела, что вмешалась.

– А ты чего командуешь?! – взорвался Есенин. – Ты!.. Ты кто? «Я среди женщин тебя не первую!» Суу-ука! Товарищ Бениславская... в кожаной тужурке... Подстилка гэпэушная! – И, вырвавшись из рук Приблудного, на ходу соскочил с пролетки. – Пошли все нахер! Слышите?

Побежал по тротуару, но поскользнулся и упал, разбив рукой окно в подвальном помещении.

Извозчик остановил лошадь. Все выскочили и бросились к Есенину. Первой подбежала Бениславская:

– Сережа, любимый, ты что? Что с тобой? – Увидев, как из пораненной стеклом руки хлещет кровь, дико закричала: – Сережа! Боже мой! Помогите! Катя! Наседкин!

Есенин потерял сознание. Подоспевший Наседкин снял с себя белое кашне и туго перевязал руку Сергею.

– Иван, давай, взяли! Вместе!

Они подняли Есенина и осторожно понесли к пролетке.

– Куды вы его! Кровища-то какая... – запротестовал извозчик.

– Тихо, отец! Не бойся, я пальто подстелю! Да гони, родной, скорее в Шереметевскую! Гони! А то в шею наkostenю!

– Гони! Такую ораву! У меня, чай, не тройка! – не сдавался извозчик. – Двоих возьму, а остальные сами добирайтесь!

– Катя, Галя, вы поймайте извозчика и следом, – командовал Наседкин, помогая Приблудному укладывать Есенина на пальто. – Мы помчались, а то Сергей кровью изойдет!

Извозчик хлестнул лошадь кнутом:

– Но, милая! Вывози!

Лошадь, словно почуяв беду, с места взяла в галоп.

Бениславская обняла плачущую Катю:

– Пойдем. По пути, может, поймаем извозчика.

Но Катя вывернулась из объятий и побежала вперед. Галя догнала ее:

– Ты что, Катя?

– Ничего!

– Это ты насчет гэпушницы?... Сергей тебе что-то говорил? – остановила она Катю.

– Сергей врать не будет... сама слышала...

– Глупенькая, да я работаю секретарем-машинисткой в ВЧК. Но это ничего не значит...

Я люблю Сергея.

– Только Сергея? А Лев Седов?

– Кто? А... Вот оно что... Это тоже Сергей сказал? Да, любила Льва Седова...

– Сына Троцкого!

– Да, сына Троцкого... Хотя Троцкий тут ни при чем. Катенька, все не так просто...

– Конечно! – возмутилась Катя. – Ты выполняешь задание! Тебя приставили к Сергею... Следить! Доносить! – Она снова бросилась бежать.

– Я?! Следить?! Доносить?! – заплакала Галя. – Глупая, я люблю его больше жизни, – крикнула она вслед убегающей Кате.

Увидев приближающуюся коляску, она выбежала на дорогу и, раскинув руки, закричала:

– Стой! Стой! Ну пожалуйста!

Лошадь остановилась. Извозчик, встав на козлах, заорал:

– Ты что, мать твою разэдак! Жить надоело?!

– Миленький! Родной! Пожалуйста! Срочно надо в больницу! – умоляюще сложила Галя руки. – Поскорей! Я заплачу!

– Ладно, садись! В какую больницу-то?

– В Шереметевскую! Только вон ту девушку захватим, – указала она вслед бегущей Кате.

Извозчик хлестнул лошадь. Та коротко заржала и понесла.

Спустя некоторое время к кровавому пятну на заснеженном тротуаре подошел чекист.

Оглядев следы, он по-волчьи потянул носом воздух. Достал милицейский свисток и засвистел.

## Глава 7

### Шереметевская горячка

Отдельная палата Шереметевской больницы. На кровати с забинтованной рукой лежит Есенин. Он без сознания. Около него сидит пожилая сиделка, время от времени смачивая полотенце в тазике с водой и прикладывая его ко лбу Есенину.

– Тихо, тихо, родимый! Успокойся, касатик!

– Пропустите меня! Что вы делаете? Вы с ума сошли! – мечется в горячечном бреду Есенин. Ему привиделся расстрел царской семьи. Но когда в подвале Ипатьевского дома собрались все Романовы и Юровский, председатель ЧК Екатеринбурга, зачитал им смертный приговор, ему почудилось, что вместо царя сидит сам Есенин, на руках у него его сын Юрий, рядом с ним Райх, Бениславская, Ганин, Наседкин, Приблудный, Орешин, Мейерхольд.

«Вы с ума сошли! Вы с ума сошли, неужели пришла пора? А казалось, еще вчера... дорогие мои! Дорогие! Хорошие!» – беззвучно кричит свои стихи Есенин, пытаясь руками защитить сына от града пуль.

И далее, как в калейдоскопе, одно видение страшней другого: проткнутая штыками, отчаянно сопротивляющаяся Зинаида Райх кричит:

«Вы не знаете, никто не знает! Мы остались сиротами!» – и падает в лужу крови.

Мейерхольд жаждал руками лицо. Сквозь его пальцы сочится кровь.

«Я виноват... я не вынес пыток! Простите! Я всех оклеветал! Я боюсь боли! Ты ж обещала, Зиночка!» – упал он на колени перед мертвой женой.

Сошедший с ума Ганин, дико хохоча, дергает Есенина за раненую руку:

«Я говорил, нужен был террор... взорвать их всех! Я могу... назначить тебя, Есенин, министром просвещения! Я умею делать бомбы! Бомбы! Вот, Есенин, гляди! Вот! – швыряет он невидимые бомбы в чекистов. – Кх! Бум! Бум!»

Бениславская с простреленной головой подползла к Есенину и, обхватив его колени, прижалась к нему.

«Ни о чем не жалею! Здесь все самое дорогое!» – шепчут мертвые губы.

Один из палачей, очень похожий на Ленина, стряхивая кровь с рук, пытается доказать свою непричастность к изуверской казни.

«Я умываю руки, Феликс Эдмундович! Я люблю только перепелиную охоту... Дорогой Феликс Эдмундович, прошу вас спасти жизнь поэта Сергея Есенина – несомненно, самого талантливого в нашем Союзе».

«Но несчастье в том, – вмешивается главный расстрельщик, сняв запятнанное кровью пенсне, – что Есенин вследствие своего хулиганского характера и пьянства не поддается никакому врачебному воздействию...» Нацепив пенсне, он поднимает наган и целится в Есенина...

«Но все равно жаль парня, жаль его таланта и молодости, товарищ Свердлов. Он много еще может дать благодаря своему необыкновенному дарованию! – картавит Ленин, вытирая кровавые руки о Свердлова. – Крепко жму руку! С партийным приветом! Ваш Ленин! С приветом, ха-ха, ваш Ленин! Ваш Ленин! Ваш Ленин, ха-ха, с приветом! Ленин с приветом! Ха-ха-ха!» – хохочет бездушный даун.

Дзержинский, вперив в Есенина свой стальной взгляд, грозит ему пальцем:

«Вы еще до сих пор живы?! Как же вы живете таким незащищенным? Смотрите! Яков Михайлович, покажите Есенину, как расстреливают людей!»

Есенин обернулся и вновь увидел царскую семью как на фотографии.

Императрица ласково улыбнулась:

«Почитайте нам свои стихи, Сергей Александрович! Почитайте, не стесняйтесь, здесь все свои, здесь вас любят. Княжна Анастасия, попроси поэта!»

Анастасия стала медленно раздеваться...

«Хорошо! Я прочту стихотворение «Русь», – согласился Есенин, зачарованно глядя на обнаженную княжну.

Потонула деревня в ухабинах,  
Заслонили избенки леса.  
Только видно, на кочках и впадинах,  
Как синеют кругом небеса.

Он хотел было продолжать, но княжна Анастасия подошла вплотную и, прижавшись своим прекрасным молодым телом, закрыла его рот страстным поцелуем. И через этот поцелуй в Есенина полилась какая-то неземная, целительная сила жизни. Горячечные видения растаяли, как туман над рекой. Он стал глубже и спокойней дышать, судороги прекратились. Сиделка вытерла пот с его лица и, перекрестив, прошептала:

– Слава богу! Беда миновала, касатик! Теперь поспи. – Она поправила ему подушку под головой и, поплотней укутав серым больничным одеялом, вышла, плотно прикрыв за собой дверь.

Прошло несколько дней. Узнав, что в больнице лежит такая знаменитость, медперсонал и ходячие больные стали навещать Есенина послушать, а то и просто поглазеть на него. «Надо же! Сам Есенин!»

Есенин никому не отказывал в общении.

Однажды, когда Галина Бениславская в очередной раз пришла его навестить, то застала такую картину: больничная палата была битком набита медперсоналом – врачи, сиделки, больные, коим не нашлось места в палате, теснились в дверях. В коридоре тоже стояло много желающих послушать самого Есенина.

А Есенин, сидя на больничной койке в халате, с перевязанной рукой, читает:

Годы молодые с забубенной славой,  
Отравил я сам вас горькою отравой.

Я не знаю: мой конец близок ли, далек ли,  
Были синие глаза, да теперь поблекли.

Он не читает свое стихотворение, он хрипит, рвется изо всех сил с больничной койки и в такт бьет о железную кровать забинтованной рукой:

Где ты, радость? Темь и жуть, грустно и обидно.  
В поле, что ли? В кабаке? Ничего не видно.

Руки вытяну – и вот слушаю на ощупь:  
Едем... кони... сани... снег, проезжаем рощу.

«Эй, ямщик, неси всюду! Чай, рожден не слабым!  
Душу вытрясти не жаль по таким ухабам!»

А ямщик в ответ одно: «По такой метели  
Очень страшно, чтоб в пути лошади вспотели».

«Ты, ямщик, я вижу, трус! Это не с руки нам!»  
Взял я кнут и ну стегать по лошажьим спинам!

Бью, а кони, как метель, снег разносят в хлопья.  
Вдруг толчок... и из саней прямо на сугроб я.

Встал и вижу: что за черт – вместо бойкой тройки...  
Забинтованный лежу на больничной койке.

Голова Есенина бессильно склонилась, голос прервался. И не как поэт, читающий свои стихи, а как человек, который рассказывает жуткую правду своей жизни, совсем тихо прошептал:

И вместо лошадей по дороге тряской  
Бью я жесткую кровать мокрою повязкой.

Есенин читал, а многие из медсестер плакали, вытирая слезы концами белых косынок. Один врач прошептал другому:

– Он пришел в наш мир либо запоздав, либо преждевременно...

Полковник Хлысталов идет по институту Склифосовского в сопровождении главврача.

– Вы знаете только, что Есенин был госпитализирован с порезанной рукой в начале двадцать четвертого года, так?

– Да! И что многие «доброжелатели» поспешили представить это как попытку покончить жизнь самоубийством. Но эту ложь легко опровергнуть, достаточно посмотреть историю болезни, не правда ли, доктор?

– Совершенно с вами согласен, но вам не известна точная дата... А должен вам сказать, любезнейший товарищ, что срок хранения истории болезни по существующему положению, которое пока никто не отменил, – двадцать пять лет. Так что ваши усилия тщетны, уважаемый Эдуард... простите, позабыл отчество?

– Александрович, – подсказал Хлысталов. – А я все-таки рискну, если позволите!

Они остановились у двери с надписью «Архив».

– Как знаете. Желаю успеха! – ответил врач и, церемонно поклонившись, ушел.

С помощью работников архива института Склифосовского в результате долгих поисков Хлысталову удалось найти журнал регистрации больных, из которого он узнал, что Есенина положили в Шереметевскую больницу, ныне институт Склифосовского, 13 февраля 1924 года.

– Вот еще один документ, смотрите, – протянула работница архива пожелтевший от времени листок. – Есенина привезли в двадцать три часа тридцать минут, лежал он в хирургическом отделении в первой палате. А вот и диагноз – читайте!

Глянув на написанное, Хлысталов усмехнулся:

– Я не силен в латыни.

– Рваная рана левого предплечья, – помогла ему женщина.

– А как же резаные вены? – опасливо спросил Хлысталов.

– Никаких резаных вен не было. Это же документ! Он свидетельствует...

– Огромное спасибо! Клевета опровергнута документально!

В порыве благодарности Хлысталов поцеловал руку, протянувшую ему это свидетельство.

– Ой, что вы? Зачем? – засмушалась сотрудница архива. – Руки у меня не стерильны, а мы все-таки в больнице!

– У вас и руки, и душа чисты... Спасибо еще раз от меня и от имени Есенина! Будьте здоровы!

Торжествующий Хлысталов буквально промчался по коридорам института, постучал в кабинет к главврачу и, услышав: «Да! Да!», вошел.

– Все! Спасибо вам за содействие. Все документы сохранились... Клевета... Резаных ран не было! – выпалил он, запыхавшись.

– Сядьте, любезный! Что вы задохнулись, будто за вами гонятся? Где эти документы? Вы их взяли?

– Что вы, как можно? – отрицательно помотал головой Хлысталов. – Это же архив!

– Подождите, Эдуард Александрович, я прикажу сделать копии.

– Премного обяжете, – обрадовался полковник.

Главврач снял трубку.

– Это архив? Галя! У вас сейчас был полковник из МУРа... Да! Сделайте копии документов и ко мне! Да! Под мою ответственность. Жду... Сейчас принесут. Давайте пока выпьем за вашу находку.

– Признаюсь, меня не везде так принимают, – улыбнулся Хлысталов.

– Почему?

– Для многих и теперь имя Сергея Есенина «табу» или как красная тряпка для быка...

– Глупость какая! Русофобия, равно как и антисемитизм, омерзительны, я бы даже сказал – преступны! – поморщился главврач, доставая из сейфа бутылку коньяку. – Живем на пороге третьего тысячелетия...

В дверь главврача профессора Герштейна постучали.

– Да-да, войдите! – пригласил Герштейн. Двое чекистов, в которых Есенин сразу бы узнал следователя Самсонова и «подсадного» офицера Головина из тюрьмы ВЧК, решительно вошли в кабинет и предъявили свои удостоверения.

– Профессор Герштейн, мы агенты ГБ... – начал было Головин, но Самсонов перебил его:

– Мы агенты уголовного розыска, из милиции, явились к вам, чтобы арестовать Есенина.

– Да! Скрывающегося у вас гражданина Есенина, – добавил Головин.

– Это какое-то недоразумение... ошибка! – Профессор снял очки, достал платок и стал тщательно протирать стекла. – У нас в больнице Есенин не скрывается, а находится на лечении в хирургическом отделении с диагнозом... – он снова надел очки, вынул папку с документами и, найдя нужный листок, протянул его чекистам: – Вот, прочтите сами.

Самсонов взял листок, недоуменно повертел его и кинул на стол перед профессором.

– Вы что, издеваетесь?!

– Ой, простите! – спохватился Герштейн. – Я забыл, что там по-латыни написано!.. Сейчас! По-русски это звучит так: рваная рана левого предплечья. Представляете, что это такое?! Может начаться заражение крови... Ему надо лежать под нашим наблюдением месяца полтора-два. В противном случае я вам гарантирую хорошее заражение крови. И вообще, на каком основании вы здесь?! – возмутился Герштейн.

– Не горячитесь, товарищ профессор, – оборвал его Самсонов. – Есть решение судьи Краснопресненского района Комиссарова арестовать Есенина.

– Здесь больница! – не сдавался Герштейн. – Здесь находятся тяжелобольные, и никакой Комиссаров мне не указ. Я буду сейчас же звонить Луначарскому... Нет! Я позвоню

самому Льву Давидовичу Троцкому! – Он решительно снял телефонную трубку, но чекист Головин положил руку на рычаг:

– Не надо звонить! Никому не надо звонить, – осклабился он. – Мы вам верим. Только вы дадите нам подписку о сохранении доверенной вам государственной тайны... и...

– И обязательство заранее предупредить, когда Есенина будете выписывать, – добавил Самсонов ласковым тоном, от которого у Герштейна задрожали руки.

– Всенепременно! Подождите, я сейчас! – овладел собой профессор. Он достал чистый лист бумаги и начал было писать, но спохватился. – Тьфу, мой бог, вам ведь надо не полатыни! – Взяв другой листок, он снова стал писать, бормоча что-то себе под нос.

– А что это у вас в коридоре больные собрались? Около палаты, внизу. Плачут. Умер кто? – спросил Самсонов, прохаживаясь по-хозяйски по кабинету.

– Умер? Кто умер? – не сразу сообразил Герштейн. – А! Да! Внизу, в хирургическом отделении... Да! Сегодня... Хороший человек был, потому и плачут... рваная рана предплечья, – пробормотал профессор, подавая подписку-обязательство о неразглашении. – Вот, прошу! Рад был познакомиться. До свидания!

Когда чекисты, козырнув, ушли, Герштейн рухнул в кресло, вытер вспотевший лоб, потом вышел из-за стола, подошел к стеклянному шкафчику, дрожащими руками налил в стакан из колбы, на которой был нарисован череп с костями и большими буквами написано «Яд!». Выпил, крикнул, занюхал нашатырем, еще налил и опять выпил и занюхал.

В палате Есенина опять собрался народ. Утомленным, еле слышным, надорванным голосом он читает свои стихи. Все замерли, внимая каждому слову. Есенин улыбнулся, чуть тряхнул головой. Выпрямился, опираясь на койку, и голос его окреп:

На лице часов в усы закрутились стрелки.  
Наклонились надо мной сонные сиделки,

Наклонились и хрипят: «Эх ты, златоглавый,  
Отравил ты сам себя горькою отравой.

И с беспощадной откровенностью и горечью завершил он не стихи, а словно откровенный рассказ о себе, в недоумении разведя руками:

Мы не знаем, твой конец близок ли, далек ли, —  
Синие твои глаза в кабаках промокли».

Палата, коридор, да и вся больница, казалось, взорвались от бешеных аплодисментов.

– Спасибо! Спасибо вам! – слабо улыбался Есенин.

– Еще! Еще! Читай, Серега! Сергей Александрович, спойте «Письмо к матери», у нас и гитара есть! – наперебой сыпались просьбы со всех сторон.

Есенин опять улыбнулся, показав забинтованную руку.

– Все, хватит! Прекратите сейчас же! – в палату как буря ворвался профессор Герштейн, бесцеремонно расталкивая медперсонал. – Вы что, угробить мне хотите товарища Есенина? Больные, все по палатам! А вам не стыдно?! – закричал он на медсестер и врачей. – Вы должны оберегать покой нашего великого поэта, а вместо этого тут митинг устроили. Марш все отсюда!

Торопясь и толкаясь, все стали протискиваться вон из палаты.

– Сергей Александрович, вы дали честное слово: никаких выступлений, никаких сборищ! А сами концерт целый устроили! Людей до слез довели!

– Простите, профессор! Поэзия меня лечит! – пытался отшутиться Есенин.



– Бросьте ваши шутки, Сергей Александрович! У вас, возможно, заражение крови. Вам нужен покой! Ложитесь! Ложитесь, и никаких разговоров... Товарищ Бениславская, слава богу, вы здесь сегодня!..

– Я каждый день здесь, Иосиф Давыдович, – улыбнулась Галя, поправляя одеяло и подушку на кровати у Есенина.

– Да-да! Я знаю! Очень хорошо! Это очень хорошо, Галина, не знаю, как вас по отчеству.

– Просто Галя.

– Очень хорошо. Просто Галя Бениславская, можно вас попросить выйти со мной, – Герштейн заговорщицки подмигнул ей, беря за руку. – На минутку!

– Конечно! С вами хоть на две! – засмеялась Галя. – Ложись, Сережа. Ты прости, виновата, не надо было давать читать стихи!

– Не давать мне дышать? – Есенин улегся на кровать, обиженно отвернувшись к стенке. – Хорошо. Я больше не буду ни читать, ни дышать...

Когда Герштейн с Галей вышли в коридор, профессор мгновенно посерьезнел. Глаза сквозь линзы очков казались огромными от ужаса. Он оглянулся по сторонам и, убедившись, что все разошлись, потащил Бениславскую по коридору.

– Галя, катастрофа! Боже мой, Галя, я погиб!

– Что случилось, Иосиф Давыдович? Успокойтесь! Говорите, нас никто не слышит! – Она тоже оглянулась назад.

– Ой, Галя! Это государственная тайна, но я вам ее выдам. Только что приходили два товарища в кожаных куртках, сказали, из милиции, но я понял, что они из ВЧК. Он приходили арестовать Есенина. Показали ордер на арест от какого-то там Комиссарова...

– Этого не может быть, Иосиф Давыдович, – обмерла Галя.

– В нашем государстве, да еще в такое время!.. Не перебивайте меня, Галя, а то я собоюсь. Так вот... я дал подписку о неразглашении и обязался сообщить им, когда Сергей Александрович будет выписываться... Ой, мой бог! Чтоб им пусто было! Вы знаете, Галя, я не трус, но у меня дети... Ха-ха-ха! – нервно засмеялся профессор. – Я их настрашал, что буду звонить жаловаться Троцкому... Их как ветром сдуло. У вас есть папиросы?

– Нет, я не курю, – ответила Галя.

– Я тоже, но в такой ситуации закуришь! Гляньте, у меня, у хирурга, пальцы дрожат! Кошмар! Идите сюда! – он повернул в какой-то коридорчик. – Они могут вернуться, Галя, это такие люди... Вы бы видели их глаза. Особенно один... с офицерской выправкой, Головин.

– Что делать, профессор?

– Срочно посоветуйтесь с вашими друзьями. Кто там есть? Есенин говорил о какой-то влиятельной Анне Абрамовне.

– Берзинь? – подсказала Галя.

– Кажется. Только Сергея Александровича надо немедленно перевести от нас в Кремлевскую больницу. Там они его не достанут.

– Хорошо, Иосиф Давыдович, я завтра свяжусь с кем надо!

– Нет! – отчаянно зашептал Герштейн. – Сегодня надо. Завтра может быть поздно! У меня дурное предчувствие. Вы бы видели их глаза! Это убийцы! Знаете, я не трус, но у меня дети... – снова повторил он.

– Не бойтесь, профессор, мы не подведем вас. Но как же все-таки быть?! – лихорадочно соображала Галя. – Я боюсь оставить Сергея одного. Ваши сиделки – ненадежная охрана, только не обижайтесь, Иосиф Давыдович!

– Что обижаться? Я сам знаю. Хорошего персонала не хватает...

Галя посмотрела на часы – скоро должны прийти сестра Есенина с мужем.

– Все устроим! Они подежурят, а я свяжусь с нужными людьми. Я ради Сергея на все пойду. Я спасу его. Я все сделаю! Спасибо, профессор, идите к себе! Спасибо вам! – Галя в порыве благодарности обняла Герштейна и поцеловала его в губы.

– Ну знаете, Галя! Так меня уже давно никто не благодарил! – Герштейн нелепой походкой пошел по коридору, потом быстро вернулся и тоже поцеловал ее в губы. – И не возражайте! Вот так, Галя. А вы как думали?!

– Вы что пили, Иосиф Давыдович? – засмеялась Галя.

– Сто граммов чистой соляной кислоты! Я не трус, Галя! И я не боюсь! – И Герштейн решительно зашагал по коридору, декламируя на ходу:

Милая, не бойся, я не груб,  
Я не стал развратником вдали  
Дай коснуться запыхавших губ,  
Дай прижаться к девичьей груди...

Бениславская пошла к Есенину, но, завернув за угол, отпрянула назад: из палаты Есенина, озираясь, вышел человек. Галя узнала в нем чекиста, который появился во дворе, когда Есенин дрался с Пастернаком.

Дождавшись, когда чекист скрылся, Галя метнулась в палату. Есенин лежал, свернувшись калачиком и повернувшись лицом к стенке, и спал, положив руку под голову. Пристально оглядев комнату, она вдруг увидела, что графин, который стоял на тумбочке рядом с кроватью и до этого был полон воды, пуст. Но зато стакан, стоящий рядом, был налит до краев и со дна его поднимались пузырьки. Галя подошла к раковине умывальника и провела по ней рукой. Да! Воду из графина только что вылили. Она вернулась к тумбочке, взяла стакан, понюхала содержимое, выплеснула его в раковину, снова понюхала.

– Боже мой! Сережа! Звери! Убийцы! – с ненавистью прошептала она. – За что? За что они тебя? – Глаза ее наполнились слезами. – Ну ничего! Я рядом! Я твоя верная Галя! Я с тобой! – Она достала из-за пазухи миниатюрный браунинг, поставила табурет у спинки кровати, загородив собою спящего Есенина, и села, проверяя патроны.

– Спи, Сереженька, жизнь моя! Они не пройдут мимо меня! Они не пройдут!

В коридоре слышались шаги и голоса.

Галя вскочила, взвела курок и приготовилась к «бою».

– Ну, входите, гады!!!

Дверь распахнулась, и на пороге в изумлении остановились сестра Есенина Катя и Василий Наседкин.

– Вот те на! – воскликнул он.

Бениславская отвела браунинг и медленно опустилась на табурет:

– Тише, Сережа спит! Тише!

## Глава 8

### Кремлевская больница. Райх

Вновь и вновь мысленно возвращаясь в то беспредельное время, Хлысталов не уставал задавать себе вопрос: почему? Почему все-таки большевики не вытащили Есенина из Шереметевской (Склифа) и не уничтожили его, как многих других неугодных им людей?

Более того, Есенин попадает в Кремлевскую больницу. Чудовищное противоречие: с одной стороны, стоило какому-нибудь прохожему на пьяного Есенина указать пальцем, и, не особенно разбираясь, его тащат в милицию, заводят дело, готовятся к суду, с другой стороны, этого скандалиста кладут в главную лечебницу большевистских вождей, охраняемую ОГПУ и той же милицией. Разумеется, попасть туда Есенин мог только с ведома и санкции партийной верхушки – тех, кто большевикам был не нужен и опасен, «вылечивали» во дворе и в подвалах Лубянки. Так, Ганина ОГПУ расстреляло, обвинив его в принадлежности к фашистской организации.

Как же могли уживаться оголтелая травля поэта и трогательная забота о его здоровье? Как бездомный, незащитный поэт мог оказаться в такой больнице? Ответ, видимо, надо искать в новом витке борьбы за власть.

По хорошей отдельной палате Кремлевской больницы перед Есениным, сидящим на подоконнике, взад-вперед рассказывает Вардин, заведующий отделом печати ЦК ВКП (б).

– Я настойчиво советую вам, Сережа, начать работу над темой революции и ее вождей, – размеренно говорит он с заметным кавказским акцентом. – Но прежде надо ответить на вопрос: с кем вы?!

– Мать моя – Родина, я – большевик, Илларион Виссарионович, – отшутился Есенин, простовато улыбаясь.

– Мы все большевики! – не принял шутки Вардин. – Скажите, кто для вас самая яркая личность, способная, на ваш взгляд, после смерти Ленина встать во главе? Стать большевистским вождем?

– Я не вижу принципиальных различий между большевистскими вождями, – ответил Есенин, стараясь разгадать, куда клонит этот партийный чиновник.

– Как вы относитесь к Троцкому? – напрямую спросил Вардин.

Каким-то звериным чутьем Есенин уловил подвох в этом неожиданном вопросе.

– Я к Троцкому? Честно? Я честно к нему не отношусь!

Вардин довольный захохотал:

– Молодец! Чувствуется крестьянская мудрость!

Есенин догадался, что хочет услышать от него Вардин, и совсем простодушно добавил:

– Не знаю! Мне, откровенно говоря, Зиновьев больше по душе. Он человечней, доступней, что ли...

Вардин поверил в искренность Есенина.

– Доверяйте душе своей, Сережа, доверяйте! У Зиновьева немало заслуг перед большевиками, перед революцией... Он долгое время был в тени Ленина, являясь его ближайшим другом. Он поставил на службу Ленину свой талант оратора и организатора. Скажу вам еще более откровенно: многие статьи Ленин написал в соавторстве с Зиновьевым.

– Ленин? В соавторстве? – продолжал наивничать Есенин.

– Да-да! А знаете ли вы, что они вдвоем несколько месяцев жили в шалаше, в Разливе накануне Октябрьского восстания?

«С милым рай и в шалаше!» – подумал Есенин, а вслух сказал, сдерживая смех:

– Надо же! А я-то думал! А Крупская... как же? Она что, не против была?

– У вшивой куме одно на уме! – захохотал Вардин, поняв намек Есенина. – Какой ж вы хулиган, Сергей Есенин! Но я не сержусь. Вы, поэты, думаете, если большевик, то шутить не умеет. Юмор нам тоже не чужд! Вы, Сергей, где живете?..

– Где придется, – пожал плечами Есенин.

– Вай, вай, вай! Такой поэт, и не имеет своего угла! Непорядок, – запричитал Вардин, цокая языком. – Я лично прослежу, чтобы вам выделили хотя бы комнату! А пока мы с женой были бы рады предложить вам временно поселиться в нашей квартире! Места хватит... квартира великолепная...

– Нет! – категорически отказался Есенин. – Никому не хочу быть обязанным! Нет! Спасибо! – а про себя подумал: «В золотую клетку заманиваешь, кацо».

– Напрасно, напрасно, – огорчился Вардин. – Как знаете! Кстати, я недавно на заседании ЦК разговаривал с Зиновьевым. Он мечтает видеть вас в Ленинграде.

– Зачем? – насторожился Есенин.

– Видимо, хочет поговорить о поэзии, о литературе, вообще об искусстве. Об издании вами журнала «Вольнодумец». Он также предлагает вам выступить в зале бывшей Городской думы! Представляете, афиши по всему Ленинграду: «Сергей Есенин»! Сейчас в Москве о таком выступлении вы не можете и мечтать, а?

«Как же я им нужен сейчас! Эти люди зря ничего не делают!» – размышлял Есенин, пока Вардин рисовал перед ним радужные планы.

– Заманчиво! А возможно в Ленинграде издать мою «Москву кабацкую»? – открыто поставил условие Есенин.

– Возможно! Все возможно, Сергей Есенин, – обрадовался Вардин, похлопывая его по плечу. – Только надо жить и работать так, как я вам советую! И тогда у вас будет и свое жилье, откроются двери издательств, будет разрешение и средства на свой журнал. Будет все! Если...

– Я приеду в Ленинград! – решительно проговорил Есенин. – Подлечусь и приеду!

– Это мудро, Сергей Александрович, и дальновидно! – не скрывал своего удовольствия Вардин. Еще бы – самого Есенина переманил на свою сторону! – Значит, мы вас ждем!

– Заказывайте афиши!

– Весь внимание! – Вардин взял вечное перо и блокнот. – Весь внимание!

Есенин, подумав, продиктовал: «Сергей Есенин! Прочтет стихи и скажет слово о мерзости и прочем в литературе».

– Браво! Вызов «непопутчикам»?

– Как хотите.

Вардин, записав, спрятал блокнот и перо в карман и протянул Есенину руку, весьма довольный собой и сговорчивостью поэта.

– Я сегодня выписываюсь. До скорой встречи, Сергей свет Александрович! Рад, что мы поняли друг друга! – Крепко пожав Есенину руку, он открыл дверь и лицом к лицу столкнулся с Зинаидой Райх:

– Извините! Я, видимо, ошиблась палатой! Я думала, здесь Сергей Есенин. Извините!

– Вы не ошиблись. Сергей Александрович, к вам очаровательная гостья. Позвольте представиться: Вардин, член ЦК ВКП (б), – напустив на себя многозначительность, он пропустил Райх в комнату.

– Очень приятно. Артистка театра Мейерхольда Зинаида Николаевна Райх, – вежливо улыбнулась и подала руку Райх.

– Как же! Как же! Слышал, – заворковал Вардин, целуя ей руку выше кисти. – Супруга гениального Всеволода Эмильевича Мейерхольда! Рад познакомиться. К сожалению, не видел вас на сцене... Верю, что так же талантливы, как и красивы. Не буду мешать! До

свидания, Сергей Александрович! Сегодня же доложу Зиновьеву о нашем душевном разговоре! – и снова, склонившись, поцеловал Райх руку и вышел.

Оставшись одни, Есенин и Райх долго оценивающе глядели друг на друга. Первой отвела взгляд Зинаида. Она подошла к окну и прижалась лбом к стеклу, постояла так с закрытыми глазами и, когда через какое-то время отстранилась, отчетливо увидела в стекле свое отражение. «Красивая», – подумала она. Открыв свой чувственный рот, она подышала на окно. Холодное стекло сразу запотело. Изящным мизинчиком Зинаида Николаевна написала: «Есенин! Я тебя люблю!» Буквы немного продержались, а потом потекли водяными слезами.

Когда Есенин подошел и взял Райх за плечи, она обернулась и бросилась ему на шею.

– Сережа! Я с ума схожу! Что мы наделали? Я люблю только тебя, слышишь?! – целовала она его лицо, вцепившись в кудрявую голову. Их губы слились в долгом страстном поцелуе. Есенин стал срывать с Зинаиды одежду, бросая прямо на пол. А она разорвала на нем рубашку и прильнула губами к его груди.

– Хочу тебя, Сережа! Хочу! Люби меня, родной мой! Люби!..

Есенин поднял обнаженную Райх и положил на кровать. Одним прыжком подскочил и запер дверь, вставив в дверную ручку стул. Вернулся к кровати, с восторгом оглядел обнаженную Зинаиду, прекрасную в своем женском бесстыдстве, и, простонав: «Зинаида!» – упал на нее!..

За окном уже совсем стемнело, когда утомившаяся Райх попросила:

– Все, Сергей, больше не могу! Дай мне отдохнуть!

Тяжело дыша, Есенин лег рядом, и Зинаида положила ему голову на грудь. Нежно ласкаясь, словно насытившаяся кошка, она с откровенностью, на которую способна лишь женщина, бесконечно благодарная любимому за утоленную страсть, призналась:

– Сереженька, любимый... у меня с тобой всегда как в первый раз!.. Я даже теряю сознание от наслаждения...

Это произошло в поезде, когда они в августе 1917-го вместе с влюбленным в Райх Ганиным совершали романтическое путешествие на Север. Русский Север покорила их своей суровой, непривычной красотой. Они побывали в Архангельске, Мурманске, посетили Соловки. Есенин и Ганин наперебой ухаживали за Зиной, но по молчаливому уговору она считалась невестой Ганина. Теперь Есенин уже не мог себе ответить, всерьез он тогда был влюблен в Зинаиду Райх, когда, оставшись с ней в купе наедине, взял ее руки и, поцеловав ладони, прошептал: «Я хочу!.. Я хочу на вас жениться», или просто «половодье чувств» захватило его...

Есенин прекрасно осознавал свою мужскую привлекательность! Ответом на это предложение был страстный поцелуй...

В дверь купе постучали.

– Кто там? – спросил в темноте Есенин.

– Это я, – ответил Ганин.

– Не открывай! – умоляюще прошептала Райх.

– Не бойся. Я твой муж! – Он включил свет. – Погоди, Леша, сейчас. – Есенин спокойно натянул штаны и рубаху и открыл дверь. Войдя в купе, Ганин поглядел на Зинаиду, которая сидела, опустив голову, закутавшись в простыню и прижавшись в углу у окна, потом на Есенина, с вызовом усевшегося рядом с ней.

– Простите, ребята... но уже ночь прошла, к Вологде подъезжаем...

Он сел напротив Есенина.

– Что случилось, Сергей? Ты... Она же моя невеста...

– Была твоя невеста... а стала... – он взял папиросу, закурил, – а стала мне женой, Алексей! Прости, так вышло! Мы любим друг друга!

– Ты почему молчишь, Зина? Это правда? Любишь его? – допытывался Алексей, все еще на что-то надеясь.

Райх решительно подняла голову и открыто поглядела на Ганина.

– Правда, Алеша! Я люблю Сережу... Прости, если сможешь! – виновато сказала она и заплакала.

Алексей нежно погладил ее по голове и горько улыбнулся:

– Чего же ты плачешь? Это мне плакать надо... Ну что ж! Поздравляю вас, Зинаида Есенина!

Он поцеловал ей руку и, нахмутив брови, строго сказал Есенину:

– Сергей, если это всерьез, то... непременно венчаться. Я буду у вас и свидетелем, шафером, и дружкой вашим. Нынче и повенчаетесь в моей Вологде... Денег, правда, кот наплакал...

– Деньги есть! – сияя от счастья, что все обошлось миром, сказала Зинаида. – Мне отец из Орла выслал сто!

– Ура! Я все беру на себя! Кольца!.. Невесту нарядим! – Ганин резко встал и вышел в коридор. – Одевайтесь, а то уже подъезжаем.

Был яркий солнечный день. К церкви, где должно было состояться венчание, подъехала пролетка с Зинаидой в наряде невесты и Ганиным в белой рубашке и черном сюртуке, явно с чужого плеча.

– А Есенин где? – привстала Райх, оглядывая собравшихся зевак и нищих перед входом в церковь.

– Вон твой Есенин, – кивнул Ганин. – Цветы тебе рвет.

Есенин торопливо нарвал букет на лужайке за церковью, подбежал к ним и, протянув Зинаиде нехитрые полевые цветы, пробормотал, виновато опустив голову:

– Прости, на настоящий букет денег не хватило...

– Спасибо, Сережа, родной, эти еще прекрасней, – она обняла Есенина, поцеловала.

Повернувшись к Ганину, тоже хотела его поцеловать, но Есенин нарочито грубо одернул Райх:

– Не вешайся на чужих мужиков, коли свой теперь есть!

– Никак не могу опомниться, Сережа! Ты мой муж?! – счастливо засмеялась Зинаида. – Я на минуту даже не могу представить себе, как сложится наша жизнь, – прошептала она на ухо Есенину, крепко прижимаясь к нему, когда они вслед за Ганиным вошли в церковь. – Хочу иметь настоящую семью, мужа... детей!..

– Сергей! Ты меня не слышишь! – теребила его Райх, лежа рядом с Есениным.

– А?.. Что? – очнулся Есенин от воспоминаний. – Ты что сказала? Прости, я задремал... – он вновь начал ласкать ее груди, бедра...

– Нет! Нет, все! Сергей, мне пора, уже поздно. Мейерхольд уже, наверное, вернулся из театра. – Она освободилась из его объятий, собрала в охапку одежду и, подойдя к окну, положив все на стул, стала одеваться.

Напоминание о Мейерхольде окончательно «отрезвило» Есенина. Он грустно поглядел, как в тусклом свете уличного фонаря, проникающего с улицы в окно, деловито-тщательно одевалась жена Мейерхольда. На ум пришли стихи Блока:

Ночь, улица, фонарь, аптека,  
Бессмысленный и тусклый свет.

Живи еще хоть четверть века,  
Все будет так – спасенья нет!..

А вслух он прочел свои:

Простите мне...  
Я знаю: вы не та —  
Живете вы  
С серьезным, умным мужем;  
Что не нужна вам наша маята,  
И сам я вам  
Ни капельки не нужен.

Живите так,  
Как вас ведет звезда,  
Под кущей обновленной сени.  
С приветствием,  
Вас помнящий всегда  
Знакомый ваш  
Сергей Есенин.

– Будь проклят Мариенгоф! Ненавижу! – воскликнула в темноте Райх. – Он все сделал, чтобы мы разошлись! Бездарность!

– Что «все»? – спросил Есенин.

– Все! Это он оклеветал меня, мерзавец прилизанный!

– Есенины черными не бывают! – холодно ответил Есенин.

– Это Мариенгофа слова, а не твои!.. Чем хочешь клянусь тебе... Костя – твой сын! Слышишь, твой!

Есенин опять вспомнил, как в ту первую ночь в поезде Зинаида солгала, сказав ему, что он ее первый мужчина. Этого обмана по своей крестьянской натуре «собственника» он не мог простить ей.

– Он не похож на меня! – почувствовал злость Есенин.

– Дурак! – взорвалась Райх. – Он похож на меня и своего деда, такое не допускаешь?

– Ты зачем пришла? Ворошить старое? – Есенин, нашарив на полу штаны и рубаху, тоже стал одеваться.

– Нет. Я знаю, ничего уже не вернуть! Я пришла требовать, чтобы ты давал деньги на содержание твоих детей!

Есенин включил свет. Зинаида от неожиданности зажмурилась, защищаясь рукой от лампочки.

– Ладно, не хочешь на Костю, бог с тобой... Но на Татьяну будь любезен, иначе... иначе я подам в суд! Ты этого хочешь? – Она окончательно оделась и, встав перед своим отражением в окне, стала нервно поправлять волосы.

– Успокойся, Зина! У меня просто не всегда бывают деньги. Ты знаешь, я в деревню отцу с матерью посылаю, сестры на мне. Но я... – пытался избежать скандала Есенин.

Но Райх уже понесло:

– Не лги! На пьянство и друзей деньги находишь! У вас книжная лавка... Ты хозяин кафе «Стойло Пегаса».

– Послушай, Зина! Я не один хозяин, и потом...

– Ничего не хочу слушать... Не будешь регулярно давать деньги, подам на алименты! Заплатишь по суду! Все! Прощай! – Она отошла от окна, еще раз оглядев себя, и направилась к двери. – И еще. Прошу тебя, не приходи к нам! Мейерхольду это не нравится!  
– Пошел на хер твой Мейерхольд!.. Я прихожу к дочке!.. – соврал Есенин.  
– Она после твоего посещения сама не своя! Выпусти меня!  
Есенин вытащил стул из дверной ручки и, поставив, отошел к окну.

Любимая! Меня вы не любили...  
А мой удел —  
Катиться дальше, вниз...

Держась за дверную ручку, Райх постояла мгновение, словно ожидая от Есенина чего-то, и, не дождавшись, распахнула дверь и вышла. В тишине коридора долго слышны были ее удаляющиеся шаги. Все стихло. Постучав в дверь, вошла молоденькая медсестра.  
– Вам пора принимать лекарства, Сергей Александрович. Вот градусник, поставьте.  
– Хорошо. Непременно, – безучастно ответил Есенин.  
Когда медсестра проходила мимо него, он взял ее за руку и, улыбнувшись своей неотразимой улыбкой, спросил:  
– Простите, у вас есть спирт?  
– Конечно есть, – с готовностью ответила медсестра. – Вы хотите что-то продезинфицировать?  
– Да, деточка. Вы угадали! Душу! Душу мне надо срочно продезинфицировать!..



## Глава 9

### Дункан

Мастерская художника Якулова помещалась на самом верхнем этаже дома № 10 по Большой Садовой. Студия была сплошь заполнена картинами, афишами театральных спектаклей, везде стояло много разных фигурок и статуэток. На полу красовался огромный персидский ковер. Мебель была непритязательная: несколько стульев, табуреток, заваленных красками. У большого окна стоял мольберт. Необычно длинный, узкий стол, выполненный по эскизу Якулова, весь был уставлен бутылками с вином, разношерстными бокалами и нехитрой закуской. Арка с темно-вишневым занавесом скрывала от посторонних глаз маленькую уютную комнату с большой тахтой, двумя мягкими креслами по углам и миниатюрным столиком между ними. Богемная вечеринка была в полном разгаре: дым, как говорится, коромыслом, когда все разом разговаривают и никто никого не слушает; взрывы беспричинного смеха. Накурено так, что хозяин призывает всех курить «по очереди».

Выпившие Сандро Кусиков и Мариенгоф играют в шашки на «интерес» – проигравший должен читать свои стихи. На фоне занавеса стоит Есенин, окруженный поклонницами сомнительной репутации, знакомыми актерами и актрисами из театра Таирова, которые расположились прямо на ковре, как зрители в партере, с бокалами и папиросами в руках, внимая своему кумиру. А он, наигрывая на гармошке и приплясывая, пел:

Сыпь, гармоника! Скука... Скука...  
Гармонист пальцы льет волной.  
Пей со мной, паршивая сука,  
Пей со мной!  
Излюбили тебя, измызгали —  
Невтерпеж.  
Что ж ты смотришь так синими брызгами?  
Иль в морду хошь?

Стихи Есенина легко ложились на музыку. Получалась песня! Горькая и отчаянная. Казалось, вся обида на Райх и других продавших его женщин вылилась в этих строчках.

Я средь женщин тебя не первую...  
Немало вас,  
Но с такой вот, как ты, со стервою  
Лишь в первый раз.

– Здорово, Сергей! Браво! Так их! – кричала богема и пьяно повторяла последние строчки: – ... Лишь в первый раз.

Есенин запыхался, кудри разметались, прилипнув к потному лбу. Он остановился и, обведя сидящих на ковре женщин презрительным взглядом, зло бросил:

К вашей своре собачьей  
пора простыть...

Но гармошка в его руках прозвучала вдруг тонко и жалобно. И сам Есенин, любящий, страдающий и ранимый, пропел тихо-тихо:

До-ро-гая... я пла-а-ачу-у-у,  
Про-сти-и-и... про-сти-и-и-и...

Все участники вечеринки, да и сам хозяин, увлеченные выступлением Есенина, не заметили, как в мастерскую тихо вошла Айседора Дункан в сопровождении своего импресарио Шнейдера. Шнейдер хотел было привлечь всеобщее внимание к приходу знаменитости, но Айседора властным жестом остановила его. Она удивленно и с нескрываемым восторгом смотрела на поющего и пляшущего Есенина. Его хулиганская удаль, горящие глаза, лихие звуки гармошки ошеломили Айседору. Минутную паузу, воцарившуюся после того, как смолкла гармошка, первой нарушила Дункан:

– Браво! Браво, товарищ! Браво! – аплодировала она, протягивая в его сторону выразительные руки гениальной танцовщицы.

Есенин замер, глядя на статную женщину с отличной фигурой и очень красивым лицом. Все обернулись и, заверещав, повскакивали с мест, восторженной толпой окружив Дункан:

– Господи, неужели? Сама Дункан! Ура, Айседора! Виват Айседора! Жорж, почему ты не сказал, что у тебя будет сама Дункан?

Необычайно гордый, что приглашенная через Шнейдера Дункан все-таки пришла в его студию, Якулов суетился, пытаясь навести хоть какой-нибудь порядок на столе.

– Айседора, наконец-то! А я думал, вы уже не придете!

Мариенгоф с Кусиковым, стараясь перещеголять друг друга в галантности, помогли Дункан снять пальто и широкополую шляпу. Шнейдер с шумом открыл принесенную с собой бутылку шампанского и, разливая по бокалам, заговорил по-английски:

– Айседора! Знакомьтесь: это московские художники, поэты, артисты... Богема! Театр!

– Богема! Карашо! Лублю! Я есть богема! – говорила она, коверкая русские слова и продолжая неотрывно смотреть на Есенина.

Якулов, поставив на изящный подносик бокал вина, подошел к Дункан:

– Мисс Дункан, надо пить! Дриньк! Обычай! До дна!

– Дриньк! Карашо! Товарищ! – Айседора с изящным поклоном приняла бокал.

Все хором запели:

Дуня! Дуня! Дуня!  
Дуня, пей до дна!  
Пей до дна, пей до дна!..

Айседора, медленно выпив ровно половину, неожиданно подошла к Есенину и протянула ему бокал.

– Дриньк! Карашо! Товарищ! Брудершафт, do you want, – добавила она по-английски, исчерпав весь свой запас русских слов.

Есенин, как замороженный, опустил гармонь. Взял бокал и залпом опустошил его.

Дункан, запустив пальцы в его волосы, прильнула к поэту страстным поцелуем.

– Залатая! Га-ла-ва! За-ла-та-я! Га-ла-ва! Ангель! – прошептала она, оторвавшись.

– Боже мой! Она же ни слова не знает по-русски! – изумился Шнейдер.

Что же происходило в эту минуту, в это мгновение между двумя великими людьми?

Знаменитая танцовщица Айседора Дункан, королева танца, покоровшая своим искусством Европу и Америку, одна из немногих среди западных интеллигентов, писателей, художников, театральных деятелей, которые устали от сытой американской и европейской жизни, увидела в русской революции освежающую бурю. Она поверила, что на необъятных просторах России строится новое светлое будущее.

– Я хочу танцевать для масс, для рабочих людей, которые нуждаются в моем искусстве... Я хочу танцевать для них бесплатно! Я буду работать для будущего русской революции и для ее детей.

Одержимая этими идеями, приехала она в Москву, совершенно не предполагая, что здесь, теплым осенним вечером, ей предстояло встретить свою судьбу, свою последнюю любовь, своего единственного законного мужа – великого русского поэта Сергея Есенина.

А он? Он уже загодя влюбился в славу Дункан, но когда наконец увидел эту восхитительную женщину, «половодье чувств» охватило его. В нем вспыхнула безудержная страсть. И мысли и чувства переплелись настолько, что они понимали друг друга без слов.

«Вот та самая женщина, которая мне нужна. Она может стать моей музыкой».

«Что он говорит? Нет, не говорит – нежно напевает? Золотая голова?»

«Чудная... как нежно гладит она мои волосы. Сколько тепла и ласки излучают ее глаза, ее голос, ее руки, ее губы!»

«Его губы... эти чистой голубизны глаза... Как прекрасно он сложен! Как пропорциональны линии его тела!»

«Как она прекрасна! Богиня! Бронзовая богиня!.. Что это со мной: меня тянет к ней! Как в омут тянет!»

«Как он молод! Мой бог! На сколько он моложе меня? Ну и пусть... Годы и душа не всегда ровесники... А его душа... О, как она глубока... как омут! Он затягивает! Нет сил противиться!»

И вновь Айседора поцеловала Есенина. Тесно прижавшись друг к другу, они опустились на колени. Есенин, обхватив ее прекрасное тело, стал буквально терзать Айседору, словно желал вобрать ее в себя, слиться с ней воедино.

– Но! Щерт! Щерт! – с трудом вырвалась она из объятий и, встав, протянула ему руки. Так и стояли они, взявшись за руки, глядя друг другу в глаза! Все исчезло, только он и она! Он и она!

– Ай да Айседора! Укротила нашего Сергея, – насмешничал кто-то из гостей.

– Не знаю еще – кто кого? – возразил Кусиков.

А потом она полулежала на тахте, сладострастно запустив руку в золотые кудри Есенина, а он, примостившись на ковре у ног ее, читал, не отрываясь глядя на ее маленький, нежный рот:

Пусть ты выпита другим,  
Но мне осталось, мне осталось  
Твоих волос стеклянный дым  
И глаз осенняя усталость.

И хотя она ничего не понимала из того, что читал Есенин, музыка его стихов завораживала ее. Она всей душой своей, всем своим нутром чувствовала, что перед ней – гений!

За полночь участники вечеринки, уже изрядно набравшись, нарушили их уединение:

– Танец! Айседора! Танец! «Интернационал»! – требовали они, скандируя. – «Вставай, проклятьем заклейменный, весь мир голодных и рабов», – пели они вразнобой.

Дункан поцеловала Есенина в голову:

– Гений! Ты есть гений! – Она грациозно встала с тахты и обвела царственным взглядом всю мастерскую художника, его полупьяных гостей. – Но! Нет карашо! – покачала она головой. – Немедленно извозчика, и ко мне на Пречистенку! Там будет танцевать Айседора Дункан. Переведите, Шнейдер! – сказала она по-английски.

Шнейдер услужливо перевел:

– Айседора всех приглашает к себе в особняк на Пречистенке. Она там будет танцевать.

– Yes, yes! Танцевать! Танцевать! – подтвердила Айседора, надевая поданное Якуловым пальто и шляпу. Взяв Есенина под руку, шутливо обмотав его и себя длинным легким шарфом, Дункан, счастливая и восторженная, потянула Сергея за собой: – Май дарлинг! Золотая голова! Mon amour!

Опьяненный то ли выпитым вином, то ли Айседорой, Есенин, блаженно улыбаясь, повиновался, неотступно следуя за ней.

– Все, пропал поэт Есенин! Повели нашего гения, как теленка на веревочке! – недоброжелательно острил Мариенгоф. – Амур Есенин! Ангелочек с крылышками! – подхватил он гармошку с пола.

– Завидуешь? Жалеешь, что не тебя избрала богиня танца? – заступился за приятеля Кусиков.

Но их пикировки уже никто не слышал. Вся ватага гостей, горланя «Интернационал» на радость спящим соседям, уже двинулась к выходу. Было совсем светло, когда они вышли на улицу. Поймав единственную проезжавшую в столь ранний час пролетку, Айседора с Есениным уселись на сиденье, а Шнейдеру ничего не оставалось, как примоститься на облучке рядом с извозчиком.

Остальные пошли пешком в надежде по пути поймать хоть какой-нибудь транспорт.

Проехав по Садовой, извозчик свернул на Пречистенку. Лошаденка кое-как перебирала копытами по мостовой, иногда спотыкаясь и дергая коляску, но Дункан и Есенина это совершенно не тревожило. Она дремала, уютно устроившись на плече у Есенина, и была вполне счастлива. Есенин, закрыв глаза, изредка поглаживал ее лицо своей щекой. Извозчик тоже клевал носом, отпустив вожжи, пригретый лучами восходящего солнца.

– Эй, отец! Ты что, венчаешь нас, что ли? Разуи глаза! Вокруг церкви, как вокруг аналоя, уже третий раз едешь! – выговаривал Шнейдер, толкнув извозчика в бок.

Есенин, узнав, в чем дело, радостно засмеялся, показывая Айседоре на церковь, мимо которой они проезжали:

– Повенчал! Понимаешь? Свадьба! Ты и я повенчаны!

Когда Шнейдер перевел ей, она со счастливой улыбкой снова прижалась к Есенину.

– Марьяж! Yes! Карашо! Свадьба!

Но вот пролетка остановилась у роскошного особняка на Пречистенке, который был предоставлен советским правительством Дункан и ее школе. Есенин подал Айседоре руку. Они поднялись по ступенькам и вошли в дверь. С этой ночи, вернее, с этого солнечного утра Есенин стал жить у Дункан. И уже через полчаса, наскоро приведя себя в порядок, они принимали притащившуюся следом и желавшую веселиться «богему». Гости восхищенно, с завистью разглядывали огромный зал, расположившись в мягких креслах, растянувшись на пушистом ковре. Шнейдер подал каждому по бокалу шампанского, открыл большую коробку конфет.

– One moment! Чичаз! Танго! – Дункан достала пластинку и отдала Кусикову. – Танго! Аргентино танго! Please! – А сама скрылась за ширму.

– Понял, мадам! Сейчас поставлю. – Кусиков открыл граммофон, покрутил ручку и поставил пластинку. Полились звуки аргентинского танго.

– Стоп-стоп! Шнейдер! I'll give you the sign! – крикнула Айседора из-за ширмы.

– погоди, Сандро! – остановил Кусикова Есенин, снимая пиджак. – Она, наверное, переодеться хочет! Подай-ка гармошку, Толя, – попросил он Мариенгофа.

– Брось, деревня! Тут Европа! Танго! А ты со своей тальянкой...

– Заткнись, умник прилизанный, – цыкнул на него Есенин. Он взял гармошку, уселся на стол и неожиданно для всех быстро и ловко подобрал мотив танго.

– Браво, Есенин! – обрадованно крикнула Дункан. – Так, так! Yes! Карашо!

– Are you ready, Icedora? Can we start? – спросил Шнейдер.

В ответ Дункан, величественная и преображенная, появилась из-за ширмы. Гости встретили танцовщицу дружными аплодисментами.

– Now! – скомандовала Дункан.

Кусиков поставил иглу на пластинку. И, словно желая помочь Айседоре, Есенин рванул тальянку и заиграл танго, да так уверенно, широко раздвигая мехи гармошки, что казалось, будто сама Россия распахнула свою душу, принимая в объятия эту бесконечно талантливую несчастную иностранку.

Дункан танцевала танго «апаш», странный и прекрасный танец. Узкое розовое тело шарфа извивалось в ее руках. Она ломала ему хребет, судорожными пальцами беспощадно сдавливала горло. Трагически свисала круглая шелковая голова ткани. Она танцевала, она вела танец. И уже Есенин был ее повелителем, ее господином. Это ему она как собака лизала руку...

Дункан закончила танец, распластав на ковре перед Есениным судорожно вытянувшийся «труп» шарфа, и сама опустилась рядом с ним.

– I love Ezenin! Я лублю Езенин! – всхлипывая, прижалась она к его ногам.

Есенин уже ничего не видел, кроме ее страдальческого лица, залитого слезами. Он поставил гармошку, подхватил свою Айседору на руки и, бережно прижимая, понес прочь, словно желая защитить ее от этих пьяных, алчущих скабрзностей людей.

– Я с тобой, Изадора! Я с тобой, любимая! Не бойся, я с тобой!

– Езенин! Езенин! – мурлыкала проснувшаяся Айседора, шаря рядом с собой по кровати. – Езенин? – Не найдя его, резко приподнялась, тревожно огляделась, вылезла из постели и, накинув полупрозрачный шелковый халат, подбежала к двери и выглянула. В соседней комнате, за огромным письменным столом, одетый в пестрый халат и в тапочках на босу ногу, сидел, склонясь к настольной лампе, Есенин и сосредоточенно писал.

Айседора счастливо улыбнулась и на цыпочках, грациозно покачивая бедрами, подошла, ласково обняла Есенина за шею.

– Езенин! – протянула она. – Почему ушел? Почему не спит? Изадора не нравится как женщина?

Отодвинув исписанные листки, она уселась перед ним на столе, вызывающе манящая.

Есенин понимающе улыбнулся:

– Нравится женщина, Изадора! Нравится! – гладил он ее бедра. – Но я работал, Изадора! Писал стихи! Вдохновение нашло, и я проснулся! Вот! – протянул ей один листок.

Дункан взяла и, как мартышка из басни Крылова, попыталась понять незнакомые буквы.

Она то отдаляла их, сощурившись, от себя, то переворачивала вверх тормашками, то вдыхала запах чернил.

– Карашо! Yes! Езенин! Байрон!

Есенин восторженно хохотал.

– Какая ты смешная, Изадора! Слушай, я прочту!

Он взял листки и, продолжая одной рукой ласкать ее бедра, стал читать:

Дорогая, сядем рядом,  
Поглядим в глаза друг другу.  
Я хочу под кротким взглядом  
Слушать чувственную व्यюгу.

Закрыв глаза, Айседора в блаженной истоме раскачивалась в такт стихам. Хрипловатый грудной голос Есенина будил в ней желание двигаться, танцевать.

– Езенин! Ты – бог, твои стихи – музыка! Я все понимаю! Еще! Еще! Езенин!

И словно отвечая на ее страстный призыв, его голос, как неизвестный музыкальный инструмент, зазвучал с новой силой.

Айседора, медленно поднявшись перед ним на столе во весь рост, начала танец любви, предназначавшийся только ему – Есенину! Танец интимный, откровенный и чистый в своей откровенности. Как греческая богиня в прозрачном хитоне, она пела в ритме стиха и голоса Есенина всем своим прекрасным телом, глазами, губами. Ее жесты были самой страстью последней любви.

Я давно мой край оставил,  
Где цветут луга и чащи.  
В городской и горькой славе  
Я хотел прожить пропащим.

Закончились стихи, утихла музыка. Айседора в изящной, грациозной позе спящей Венеры улеглась на письменном столе перед Есениным.

– Bravo, Изадора! Ты чудо! Какая же ты красивая баба!

Есенин стал снимать с нее прозрачный халат, но Айседора выскользнула из его рук.

– Ты гений! Ты ангель! Ты щерт! – Она соскочила со стола, подбежала к зеркалу и, взяв ярко-красную помаду, написала на стекле большими буквами: «I love Ezenin!»

– Я лублю Езенин! Карашо?..

Есенин подошел к зеркалу. Долго, пристально глядел на надпись, и вдруг лицо его исказилось гримасой страха: ему померещилось, что буквы на зеркале начали постепенно кровоточить, каплями стекая по стеклу. Есенин вздрогнул, обернулся к Айседоре:

– Изадора! Там... там кровь! Посмотри, кровь! – Но Дункан, не понимая его испуга, улыбалась, продолжая ластиться к нему:

– Лублу, Сереженька! Лублу! I love you!

Старинные часы в гостиной пробили восемь раз.

– Oh, my God! – встrepенулась Айседора. – Уже восемь?! Меня ждут дети! Школа танца! Ирма, Ирма! – позвала она свою ученицу и приемную дочь, которую привезла собой в качестве помощницы. – Ирма, быстро одеваться! – скомандовала она вошедшей Ирме, проходя в спальню. – Дети уже собрались?

– Да, Айседора. Тридцать детей ждут. – Ирма чопорно поклонилась Есенину, проходя следом за Дункан. – Шнейдер тоже здесь. Он сносно говорит по-английски и по-немецки.

– Ты сказала, тридцать? О майн гот! Луначарский обещал мне тысячу! – возмущалась Айседора, надевая перед зеркалом красную блузку. – Посмотри, Ирма! Я хочу выглядеть, как товарищ! Красный товарищ! Езенин! Смотри! Красный товарищ, карашо? Yes? – спросила она.

– Ну, Изадора! Карашо! Ес! – насмешливо ответил Есенин.

Довольная собой, Дункан чмокнула его в щеку.

– Лублу Езенин! Я чичаз! – Она открыла дверь и торжественно и величаво проследовала в зал.

– Товарищ Есенин! – Ирма задержалась около Есенина. – Там пришли какие-то типы. Спрашивают вас. Мне кажется, они очень пьяные!

– Хрен с ними, – ухмыльнулся Есенин. – Пусть идут сюда!

– Товарищ Есенин, Айседоре будет неприятно! – запротестовала Ирма. – У нее сейчас будут занятия с детьми! Школа Дункан! Вы можете это понять? Вы... – хотела она что-то еще добавить, но Есенин так выразительно посмотрел на нее, что та, прикусив язык, ретировалась вслед за Дункан.

Послышались голоса, и в кабинет ввалились Якулов с Кусиковым.

– Здорово, Серега! – заорал Кусиков. – Как ты тут? Да! Жилище для поэтов! – Он обошел кабинет и уселся на край письменного стола. – Ай да Сергун! Ухарь-купец! В халате! Ни хера себе!

– Не лайся здесь по-матушке, Сандро! – Есенин кивнул на дверь в зал, где была Дункан.

– Фу-ты ну-ты! Надо же! Давно ли Серега материться перестал? – не унимался Кусиков.

– Ты чего пристал к Сереге как банный лист, – поморщился Якулов. – Давайте лучше выпьем, а то башка трещит после вчерашнего... Чего только не пили... Здорово повеселились.

– Я работаю, – Есенин кивнул на лежащие на столе стихи. – Ты же знаешь, когда работаю, я не пью...

– Верно, Сергун, если пьянка мешает работе... брось работу, – заржал Кусиков. – Черт с тобой, мы и без тебя выпьем! – Он достал из оттопыренных карманов пальто бутылку водки и стаканы, протянул Якулову.

Расположившись на столе, они разлили по полстакана и чокнулись.

– За Серегу!

Залпом выпили. Есенин брезгливо передернулся:

– Как вы можете?! Водку?! С утра?!!

– Очень хорошо!! – парировал Кусиков.

Из-за двери, ведущей в зал, послышалась музыка. Есенин подошел, легонько приоткрыл ее и заглянул в образовавшуюся щель. Он увидел свою божественную Изадору в окружении тощих детишек, с испугом слушающих странную тетю в нелепом одеянии.

– Дети! Я не буду учить вас танцам! – торжественно говорила она ничего не понимающим детям. – Вы будете танцевать, когда захотите! Я хочу научить вас радоваться – порхать как бабочка в траве, дышать легко и свободно, как птицы. Я хочу, чтобы детские руки могли коснуться звезд и обнять мир! Переведите, – обратилась Айседора к Шнейдеру.

Ваня ходит неумытый,  
А Сережа чистенький.  
Потому Сережа спит  
Часто на Пречистенке, —

неожиданно пропел Сандро, притопывая ногой. – Это про тебя Мариенгоф вчера сочинил! – осклабился он, икнув.

– Тихо, вы!.. – Есенин осторожно прикрыл дверь и подошел к друзьям. – Зря вы так. Вы же ее совсем не знаете! Она баба добрая, чудная только. – Он решительно налил себе водки и выпил. – Пошли отсюда... Только скорее, а то Айседора вернется, – и спрятал листки со стихами в стол.

– Ура, Серега! – крикнул Кусиков, но Есенин сунул ему под нос кулак:

– Тихо, сказал! А то вот закусишь, Кусиков!

Он метнулся в спальню. Быстро переоделся. Крадучись и подталкивая пошатывающихся приятелей, вышел из особняка на улицу.

– Сюда, господа-товарищи! Ко мне! Эх, прокачу! – крикнул стоящий неподалеку извозчик.

Троица разместилась в экипаже, и Кусиков скомандовал:

– В «Стойло Пегаса».

– Куда? – не понял извозчик.

– На Тверскую гони, брат, гони в кафе, – засмеялся Есенин.

– Теперь понял, – обрадованно дернул вожжами извозчик. – Но! Милая!

Когда через какое-то время Дункан заглянула в кабинет и увидела вместо Есенина натюрморт на письменном столе: пустую бутылку и опрокинутые стаканы. Вдохновенный взгляд ее сразу потускнел, плечи опустились, и она даже как-то постарела.

«Есенин бросил Изадору! Есенин не любит! – Она в ярости швырнула стаканы на пол. – Серьеженька! – Дункан опустилась на колени, закрыв лицо руками. – Серьеженька!»

«В этом пышном особняке Есенин, пожалуй, впервые за все последующие годы ощутил себя по-настоящему дома», – размышлял Хлысталов, вылезая из своей «волжанки», когда, найдя свободное место, припарковался на Пречистенке у дома, где когда-то жили Дункан с Есениным.

С появлением Есенина здесь стали бывать и поэты-имажинисты: Кусиков, Мариенгоф, Шершеневич, Ивнев... Мало ли их! Да что там говорить! Вся эта разудалая компания являлась сюда весело провести время. Бесплатная провизия и спиртное всегда имелись – кремлевский паек. Гуляла богема! А Есенин? Нет! Он был очарован, покорен своей Изадорой, чувствуя в себе ту же страсть, которая буквально сжигала и Айседору.

Хлысталов подошел к стоящему в дверях охраннику, предъявил удостоверение.

Охранник, молодой сержант, посмотрев в список, лежащий перед ним на столике, отдал честь. Хлысталов, проходя мимо, спросил сержанта:

– Простите, вы случайно не знаете, кто здесь раньше жил?..

– Фирма, что ли, какая? – не понял милиционер.

– Я слышал, вроде в двадцатых годах Есенин тут жил с Дункан, знаешь про таких?

– Кто же Есенина не знает, вы что? – покачал головой сержант. – Я и про Дункан слышал... читал где-то... А! Кино видал! Певица она была!

– Не певица, сержант. Танцевала она, босиком танцевала.

– А-а-а! А чё босиком-то?..

– Не в чем, видно, было... – улыбнулся Хлысталов.

Охранник тоже засмеялся:

– А Есенин, значит, тут жил с ней, надо же... Ходил тут! Надо же!..

– Да-да, ходил тут! Все верно, – Хлысталов вошел внутрь, поднялся по ступенькам парадной лестницы.

В особняке шел ремонт, а потому все комнаты были заставлены лесами и стремянками. Окна были покрашены известкой, мебель покрыта чехлами. Шаги Хлысталова гулко отдавались в пустых комнатах. В зале, увидев сохранившееся зеркало, на котором Айседора когда-то написала губной помадой свое признание в любви, Хлысталов подошел к нему. Странное чувство овладело им, когда он посмотрел на свое отражение: будто он сам переместился в те годы, в то время, когда в зеркале отражалось зареванное, несчастное лицо Дункан. «Есенин бросил Изадору! Есенин разлюбил!»

Ему даже послышался ее отчаянный голос: «Серьеженька! Серьеженька». Она любила Есенина беззаветно! Что ж, обыкновенная история.

«На склоне наших дней нежней мы любим и суеверней», – с грустью подумал Хлысталов. – Оттого и сносила безропотно всех его приятелей-собутельников... Да сама пила много... с такими гостями что ей еще оставалось?..



## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.